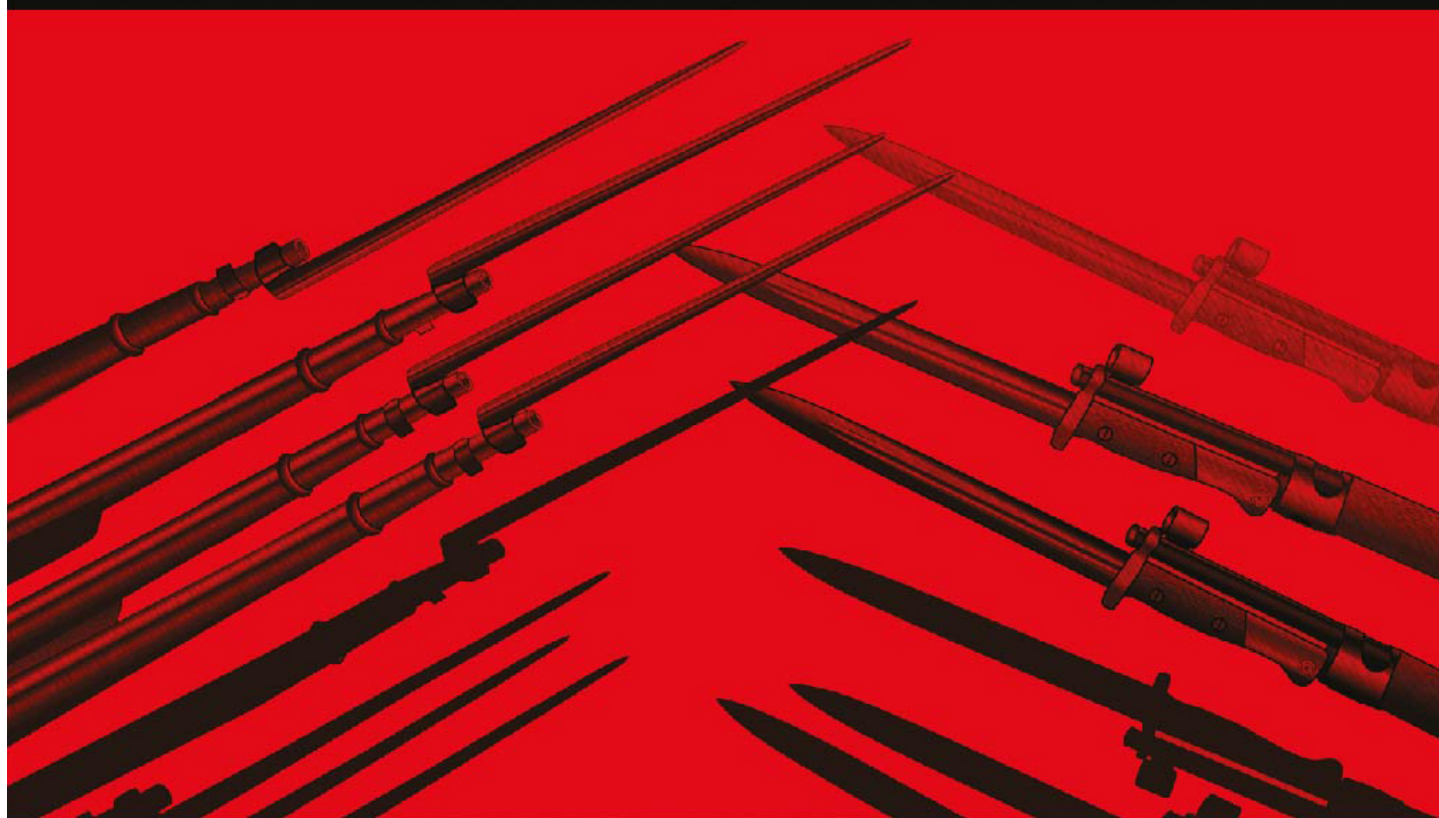


СТАЛИНГРАД



rocketbook

ЗА ПРАВОЕ ДЕЛО

Василий Гроссман

Сталинград

Василий Гроссман

За правое дело

«ЭКСМО»

1954

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Гроссман В. С.

За правое дело / В. С. Гроссман — «Эксмо»,
1954 — (Сталинград)

ISBN 978-5-04-175251-4

Роман «За правое дело» В. Гроссмана – первая книга дилогии, посвященной событиям грозных 1941–1942 годов, великим сражениям за Сталинград, судьбам государства и личности, неразделенности бытия и смерти. Автор собирался назвать этот роман «Сталинград», но высокие инстанции наложили запрет...

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-175251-4

© Гроссман В. С., 1954
© Эксмо, 1954

Содержание

Часть первая	6
1	6
2	8
3	13
4	16
5	18
6	21
7	24
8	26
9	30
10	36
11	37
12	39
13	42
14	43
15	44
16	49
17	56
18	58
19	61
20	66
21	68
22	77
23	78
24	82
25	88
26	94
27	95
28	97
29	100
30	102
31	105
32	107
33	110
34	114
35	117
36	118
37	122
38	124
39	126
40	128
41	131
42	134
Конец ознакомительного фрагмента.	138

Василий Семенович Гроссман

За правое дело

© Гроссман В.С., наследники, 2013

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2013

Часть первая

1

Двадцать девятого апреля 1942 года к Зальцбургскому вокзалу, украшенному итальянскими и немецкими флагами, подошел поезд диктатора фашистской Италии – Бенито Муссолини.

После обычной церемонии на вокзале Муссолини и люди, сопровождавшие его, отправились в старинный замок зальцбургских князей-епископов Клессгейм.

Здесь в больших, холодных залах, недавно обставленных вывезенной из Франции мебелью, должно было состояться очередное свидание Гитлера и Муссолини, беседы Риббентропа, Кейтеля, Иодля и других приближенных Гитлера с министрами – Чиано, генералом Кавалеро, итальянским послом в Берлине Альфиери, сопровождавшими Муссолини.

Эти два человека, считавшие себя хозяевами Европы, встречались каждый раз, когда Гитлером подготавливалась новая катастрофа в жизни народов. Их уединенные беседы на границе австрийских и итальянских Альп знаменовали обычно военные вторжения, континентальные диверсии, удары многомиллионных моторизованных армий. Краткие газетные сообщения о встречах диктаторов наполняли тревожным ожиданием человеческие сердца.

Семилетнее наступление фашизма в Европе и Африке шло успешно, и, вероятно, обоим диктаторам трудно было бы перечислить длинный список больших и малых побед, приведших их к власти над огромными пространствами и сотнями миллионов людей. После бескровных захватов Рейнской области, Австрии и Чехословакии Гитлер в августе 1939 года вторгся в Польшу и разбил армии Рыдз-Смиглы. Он сокрушил в 1940 году одну из победительниц Германии в Первой мировой войне – Францию, попутно захватил Люксембург, Бельгию, Голландию, подмял Данию, Норвегию. Он сбросил Англию с европейского материка, изгнав ее войско из Норвегии и Франции. Он сокрушил на рубеже 1940 и 1941 годов армии Балканских государств – Греции и Югославии. Абиссинский и албанский разбой Муссолини казался провинциальным по сравнению с огромным всеевропейским масштабом гитлеровских захватов.

Фашистские империи распространили свою власть над пространствами Северной Африки, захватили Абиссинию, Алжир, Тунис, порты Западного берега, грозили Александрии и Каиру.

В военном союзе с Германией и Италией состояли Япония, Венгрия, Румыния и Финляндия. В разбойничьей дружбе с Германией находились фашистские круги Испании, Португалии, Турции и Болгарии.

За десять месяцев, прошедших с начала вторжения в СССР, армии Гитлера захватили Литву, Эстонию, Латвию, Украину, Белоруссию, Молдавию, оккупировали Псковскую, Смоленскую, Орловскую, Курскую и часть Ленинградской, Калининской, Тульской, Воронежской областей.

Созданная Гитлером военно-экономическая машина поглотила большие богатства: французские сталелитейные, машиностроительные и автомобильные заводы, железные рудники Лотарингии, бельгийскую металлургию и угольные шахты, голландскую точную механику и радиозаводы, австрийские металлообрабатывающие предприятия, военные заводы Шкода в Чехословакии, нефтяные промыслы и нефтеперерабатывающие заводы Румынии, железные руды Норвегии, вольфрамовые и ртутные рудники Испании, текстильные фабрики Лодзи. Одновременно длинный приводной ремень «нового порядка» заставил вертеться колеса и работать станки сотен тысяч менее крупных предприятий во всех городах оккупированной Европы.

Плуги двадцати государств пахали землю, а мельничные жернова мололи ячмень и пшеницу для оккупантов. Рыбачьи сети в трех океанах и пяти морях вылавливали рыбу для фашистских метрополий. Гидравлические прессы выжимали виноградный сок и оливковое, льняное, подсолнечное масло на плантациях Африки и Европы. На ветвях миллионов яблонь, сливовых, апельсиновых и лимонных деревьев вызревал богатый урожай, и в деревянные ящики, проштемпелеванные знаком черного одноглавого орла, упаковывались созревшие плоды. Железные пальцы доили датских, голландских и польских коров, стригли овец на Балканах и в Венгрии.

Власть над захваченными пространствами Европы и Африки, казалось, с каждым годом, с каждым днем и часом множила силы фашизма.

Предатели свободы, добра и правды в своем холуйском раболепии перед торжествующим насилием пророчили гибель всем сопротивлявшимся, называя гитлеризм истинно новым, высшим порядком.

В «новом порядке», установленном Гитлером в завоеванной им Европе, обновились все виды, все формы, все способы насилия, которые возникали на протяжении тысячелетий истории господства немногих над многими.

Зальцбургское свидание в конце апреля 1942 года предшествовало большому наступлению на юге России.

2

В первые минуты встречи Гитлер и Муссолини, как обычно, широко и приветливо улыбаясь всей эмалью и золотом своих искусственных зубов, выразили удовольствие, что обстоятельства позволили им свидеться.

Муссолини подумал, что зима и жестокое поражение под Москвой не дались Гитлеру даром – в волосах его, не только на висках, было много седины, отеки под глазами стали больше, цвет лица казался особенно бледным и нездоровым; неизменно свежим оставался лишь френч фюрера. Зато угрюмое и жестокое выражение еще резче проступало на лице Гитлера.

Гитлер, поглядев на дуче, подумал, что через пять-шесть лет тот окончательно одряхлеет, толстый старческий живот станет еще толще, ноги еще короче, тяжелые челюсти еще тяжелей. Ужасающая диспропорция между телом карлика и огромным подбородком, лицом и лбом великана... Правда, темные умные глаза дуче сохраняли жестокую зоркость.

Фюрер, все еще улыбаясь, порадовался за дуче: он выглядит помолодевшим. Дуче был рад за фюрера: его наружность – свидетель здоровья и бодрости духа.

Они заговорили о прошедшей зиме. Муссолини, потирая ладони, точно они у него мерзли от одной мысли о московской стуже, поздравил Гитлера с победой над русскими льдами, над тремя генералами России: декабрем, январем и февралем. Голос его звучал торжественно, – видимо, слова поздравления, как и широкая неподвижная улыбка, были заготовлены заранее.

Они согласились, что, несмотря на большие людские и материальные потери в эту небывало холодную, убийственно жестокую даже для русских зиму, у отступивших немецких дивизий не было Березины. Это, видимо, свидетельствовало о превосходстве того, кто вел войну с Россией в 1941 году, над тем, кто вел войну с Россией в 1812 году. Потом они обсудили общие перспективы.

Теперь, когда зима позади, ничто уже не может спасти Россию – последнего врага «нового порядка» на континенте, и предстоящее наступление поставит на колени Советы. Наступление лишит наземные и воздушные моторы Красной Армии горючего, лишит нефти промышленность Урала, лишит горючего механизированное сельское хозяйство, определит падение Москвы. После разгрома России Британия капитулирует. Англичан быстро поставит на колени воздушная и подводная война – восточного фронта тогда не будет, операции приобретут все-сокрушающую силу. «Дженерал моторс», Стальной трест, «Стандарт ойл», все фирмы, определяющие производство американских военных моторов, самолетов, стали, синтетического каучука, магния, совершенно не заинтересованы в росте производства, а искусственно сдерживают его ради вздутия монопольных прибылей. Что касается Британии, то Черчилль ненавидит своего русского союзника больше, чем немецкого противника, и в его склеротическом мозгу все смешалось: с кем он, против кого он. Обоим не хотелось говорить о «нелепом паралитике» Рузвельте. Их взгляды на положение во Франции совпадали. Несмотря на проведенную Гитлером две недели назад реорганизацию вишйского кабинета, антинемецкие настроения усиливались, во Франции зрела измена. Но это не имело особого значения и не вызывало тревоги: едва на востоке руки будут развязаны, во всей Европе установится спокойствие и мир.

Гитлер, усмехнувшись, сказал, что пришлет наводить порядок во Франции Гейдриха из Чехословакии, и перешел к африканским делам. Он не высказал ни одного упрека, перечисляя африканские силы Роммеля, посланные в помощь итальянцам; Муссолини понял, что Гитлер нарочно перед разговором о главном и основном предмете совещания выразил желание поддержать итальянское наступление в Африке.

И действительно, вскоре Гитлер заговорил о России. Гитлер не видел и не хотел видеть того, что тяжелые бои на восточном фронте, жестокие зимние потери лишили германскую

армию возможности вести наступление одновременно на юге, на севере, в центре. Ему казалось, что план новой летней кампании рожден лишь его свободной волей, что лишь его воля и мысль определяют движение военных событий.

Он сказал Муссолини о том, что потери Советов огромны, они лишились украинской пшеницы. Ленинград обстреливается артиллерией. Прибалтика навеки отторгнута от России. Днепр находится в глубоком тылу германских армий. Уголь, химия, руда, металлургия Донбасса в руках Фатерлянда, немецкие истребители летают на Москву, Советский Союз потерял Белоруссию, большую часть Крыма, тысячелетние земли Центральной России, русские изгнаны из своих старинных городов – Смоленска, Пскова, Орла, Курска, Вязьмы, Ржева. Остается нанести последний удар, но, для того чтобы наступление действительно оказалось последним, сила его должна быть фантастически велика. Генералы оперативного управления штаба считают, что не нужно одновременно двигаться к Сталинграду и на Кавказ. Но он сомневается в их правоте: если у него хватило в прошлом году сил вести войну в Африке, потрясать Британию с воздуха, парализовать подводным флотом усилия Америки и одновременно стремительно двигаться в глубь России фронтом протяжением в три тысячи километров, почему же колебаться сегодня, пока полная пассивность Америки и Англии, совершенно не связывающая вооруженные силы Германии, позволяет собрать всю мощь удара лишь на одном участке одного восточного фронта. Масштаб ужасного и сокрушительного наступления на Россию должен быть огромен. С запада на восток вновь будут переброшены большие силы; во Франции, Бельгии, Голландии останутся лишь дивизии, патрулирующие побережье. Войска, оттянутые на восток, будут перегруппированы, и северной, северо-западной, западной группам предстоит пассивная задача – вся живая сила удара сгустится на юго-востоке.

Никогда, пожалуй, не концентрировалось столько артиллерии, танковых дивизий, пехоты, бомбардировочной и истребительной авиации на одном участке фронта. Это частное наступление в существе своем имеет все элементы мировой всеобщности. Это последний и окончательный этап наступления национал-социализма. Здесь навсегда определится судьба Европы и судьба мира. В этом наступлении должна достойно участвовать итальянская армия. В нем должна участвовать не только армия, но итальянская промышленность, итальянское земледелие, весь итальянский народ.

Муссолини знал заранее о низменной прозе, сопутствовавшей дружеским встречам с Гитлером. Последние слова Гитлера означали погрузку в восточные эшелоны сотен тысяч итальянских солдат, резкое повышение поставок сельскохозяйственного сырья и продовольствия, внеочередной принудительный набор рабочих для германских предприятий.

После окончания беседы Гитлер вышел следом за Муссолини из кабинета и проводил его через приемный зал. Быстрым, ревнивым взором Муссолини оглядывал немецких часовых. Казалось, их мундиры и плечи были отлиты из стали, лишь в глазах было выражение иступленного напряжения, когда мимо них проходил фюрер. В этой монотонной серой окраске солдатского мундира и гитлеровского френча, близкой по тону борту линкора и железу сухопутной войны, было нечто превосходящее пышную краску итальянской военной формы, нечто выражавшее силу германской армии. Неужели вот этот самоуверенный главнокомандующий восемь лет назад, во время первой их встречи, в белом дождевике, черной мятой шляпе и рыжих ботинках, похожий на провинциального актера либо живописца, вызывая смех и улыбки венецианской толпы, спотыкаясь шел на параде карабинеров и гвардии рядом с дуче, одетым в генеральский плащ, каску с высоким плюмажем и шитый серебром мундир римского генерала?

Дуче постоянно удивлялся успеху и власти Гитлера. Нечто иррациональное было в торжестве этого богемского психопата, и в глубине души Муссолини считал его успех курьезом и недоразумением мировой истории.

Вечером Муссолини несколько минут разговаривал со своим зятем Чиано. Они разговаривали во время короткой прогулки по прелестному весеннему саду – имелась опасность, что в

комнатах князей-епископов другом и союзником установлены замаскированные сименсовские диктофоны. Муссолини был раздражен: конечно, ему снова пришлось согласиться, и снова вопрос создания «Великой Итальянской Империи» будет решаться не на Средиземном море, не в Африке, а где-то в чертовых донских и калмыцких степях. Чиано спросил о самочувствии фюрера. Муссолини ответил: крепок, но несколько утомлен и, как всегда, невероятно болтлив.

Чиано сказал, что Риббентроп был с ним очень любезен, настолько, что даже показался не совсем уверенным. Муссолини ответил, что это лето решит все судьбы и подведет итог всем итогам.

– Я думаю, – сказал Чиано, – любая неудача фюрера будет и нашей неудачей, но с некоторых пор я не уверен, будет ли его конечная удача и нашей удачей.

Его скептицизм не был поддержан – тесть отправился спать.

Тридцатого апреля после завтрака состоялась вторая встреча Гитлера и Муссолини – при ней присутствовали оба министра иностранных дел, фельдмаршалы и генералы.

Гитлер был в это утро очень возбужден. Не заглядывая в лежащие перед ним бумаги, он называл номера дивзий и цифры, выражавшие мощь промышленных предприятий. Он говорил час сорок минут без передышки, лишь облизывая губы своим большим языком, точно говорение вызывало у него во рту ощущение сладости. В своей речи он коснулся самых различных вопросов: Krieg, Friede, Weltgeschichte, Religion, Politik, Philosophie, Deutsche Seele...¹ Он говорил быстро, напористо, но спокойно, редко повышая голос. Лишь однажды он усмехнулся, по лицу его прошла судорога. «Вскоре еврейский смех замолкнет навсегда», – он приподнял кулак, но тотчас разжал его, мягко опустил руку. Итальянский партнер поморщился: темперамент фюрера пугал его.

Гитлер переходил несколько раз от вопросов войны к послевоенному устройству. Было ясно, что мысль его, опережая предстоящий успех летнего наступления в России и близкий конец войны на континенте, теперь часто бывает занята грядущим мирным временем – отношением к религии, социальными законами, национал-социалистическими науками, искусством, которые наконец смогут развиваться в очищенной, освобожденной от коммунистов, демократов и евреев новой послевоенной Европе.

И в самом деле, пора подумать обо всем этом – в сентябре, в октябре, когда военный крах Советской России ознаменует начало мирного периода, когда угаснут пожары и уляжется пыль последнего в истории русского народа сражения, во всем объеме встанут сотни вопросов: нормальная организация немецкой жизни, хозяйственно-политический статут и административное деление побежденных стран, ограничительные нормы права и образования для неполноценных народов, селекция и регулирование размножения, перемещение крупных человеческих масс из бывшего Советского Союза для восстановительных и реконструктивных работ в Германии и организация для них долгосрочных лагерей мирного времени, ликвидация и демонтаж промышленных узлов в Москве, Ленинграде, на Урале и даже такие мелкие, но неизбежные дела, как переименование русских и французских городов.

В его манере говорить была одна особенность – казалось, он почти что равнодушен к тому, слушают ли его. Он говорил плотоядно, с наслаждением шевеля большими губами, глядя поверх голов, куда-то между потолком и тем местом, где начинались атласные белые портьеры над темными дубовыми дверями. Иногда он произносил пышные фразы: «Ариец – Прометей человечества»... «Я возвратил насилию его значение, как источнику всего великого и матери порядка»... «Мы осуществили путь вечного господства арийского Прометея над всеми человеческими и земными существами»...

И когда он произносил эти слова, его лицо улыбалось и он, волнуясь, судорожно глотал воздух.

¹ Война, мир, мировая история, религия, политика, философия, немецкая душа (нем.).

Муссолини поморщил брови, быстро повернул голову и скосил глаза, словно хотел разглядеть свое ухо, дважды он нервно посмотрел на ручные часы – он сам любил говорить. В этих встречах, где младший годами, последователь, всегда оказывался первым, дуче находил утешение лишь в превосходстве своего ума, и потому долгое молчание было особенно тяжело ему. Он все время чувствовал на себе почтительный, приветливый и пристальный взгляд Риббентропа, сидевшего рядом с Чиано. Тот слушал, удобно сидя в кресле и глядя на большие губы фюрера, – не будет ли что-нибудь сказано о североафриканских колониях и будущей франко-итальянской границе. Но фюрер на этот раз не касался прозы. Альфиери, слышавший Гитлера чаще других итальянцев, смотрел вверх, в ту же точку, что и фюрер, – туда, где начинались портьеры, с выражением спокойной покорности. Иодль, сидевший на отдаленном диване, дремал, сохраняя на лице выражение внимания и деликатности. Кейтель, боявшийся уснуть, – он сидел напротив Гитлера в кресле, – то и дело вскидывал массивную голову, поправлял монокль и, ни на кого не оглядываясь, угрюмо хмурился. Генерал Кавалеро с выражением счастья и грубой подострастности, вытянув шею и склонив набок голову, слушал, упиваясь каждым словом Гитлера, и изредка коротко быстро кивал.

Для немецких и итальянских министров и вельмож, генералов и всех, кто не первый раз видел и наблюдал эти встречи, Зальцбургское свидание ничем не отличалось от предыдущих.

Так же, как и обычно, предметом разговора была континентальная политика и мировая война. Так же, как и обычно, вели себя при встрече фюрер и дуче: приближенные люди хорошо понимали отстоявшееся, выкристаллизовавшееся чувство одного к другому. Они знали тайное ощущение неравенства, не покидавшее Муссолини, знали, что он всегда раздражен инициативой, исходящей не из Рима, решениями, рождающимися в Берлине, совместными декларациями, которые его почтительно и торжественно просят подписывать, но не приглашают разрабатывать, ночными побудками, так как Гитлер имел обыкновение без церемоний вызывать патриарха фашизма для разговоров перед рассветом, в час крепкого сна.

А Чиано знал и постоянное утешение Муссолини, считавшего в глубине души Гитлера дураком; это утешение было в том, что сила фюрера лишь в статистическом, цифровом превосходстве немецкой армии, промышленности и населения над итальянцами; сила Муссолини была в самом Муссолини. Дуче даже любил высмеивать слабодушие итальянцев, это оттеняло личную силу человека, пытавшегося сделать молот из народа, который шестнадцать веков был наковальней. И при этом свидании приближенные люди, ловившие каждый жест и каждый взгляд своих хозяев, как и на предыдущих, отметили: отношения фюрера и дуче, и внешне и тайно-внутренне, были такими, как обычно. И такой же, как обычно, была внешняя суровость обстановки, подчеркивавшей военное величие и всемогущество встречающихся. Возможно, некоторое отличие было в том, что речь в Зальцбурге шла о решающем, видимо последнем, военном усилии, так как на всем европейском массиве уже не оставалось вооруженного противника, кроме отступивших далеко на восток советских армий. Может быть, эту особенность Зальцбурга отметил бы будущий национал-социалистический историк. Возможно, что некоторое отличие от предыдущих их встреч было в особо уверенном, чрезвычайно уверенном настроении Гитлера.

Но все же было одно действительное отличие Зальцбургской встречи от всех предыдущих встреч Гитлера с Муссолини. Оно заключалось в том, что вождь фашистской Германии, жаждавший войны, упивавшийся войной, безгранично самоуверенно и настойчиво заговорил о мире, высказав в этом свой бессознательный страх перед порожденной им войной. Шесть лет он неизменно побеждал – сатанинским насилием и военным блефом. Он был уверен, что в мире есть лишь одна действительная сила – это сила его армии и его империи; все, что противостояло ему, было мнимым, условным, нереальным и невесомым. Действительным и весомым был его кулак. Этот кулак разрывал, как паутину, одну за другой военные, политические и государственные комбинации Европы. Он искренне верил, что, возродив первобытные звер-

ства и вернувшись к дубине человеческого прапращура, он открыл новые пути истории. Он доказал бессилие Версальского договора и порвал его, истоптал, а затем по-своему переписал на глазах президента Америки, премьеров Франции и Британии.

Он восстановил в Германии воинскую повинность, начал создавать запрещенные Версальским договором флот, армию, воздушные силы. Он ремилитаризировал Рейнскую область, введя туда тридцать тысяч солдат. Оказалось, эти силы достаточны, чтобы изменить решающий результат Первой мировой войны; для этого не нужны были миллионные армии и громады тяжелого вооружения. Удар за ударом, одно за другим он уничтожил государства послеверсальской Европы – Австрию, Чехословакию, Польшу, Югославию.

Но чем больше был его успех, тем темней становилось в его голове. Он не мог ни понять, ни представить себе, что в мире существуют не одни лишь мнимые силы, не только политическая игра, не только категории пропаганды, не только правительства, заражающие своим бессилием солдат и матросов, – все то, с чем счастливо расправлялась его дубина.

Двадцать второго июня 1941 года германские армии вторглись в Советскую Россию. Первоначальный успех скрыл от Гитлера природу того гранита, тех духовных и материальных сил, против которых он ополчился. То были не мнимые силы, то были силы великого народа, заложившего фундамент будущего мира. Летнее наступление 1941 года, опустошительные зимние потери обескровили германскую армию, вызвали перенапряжение военной промышленности. Гитлер уж не мог, как в прошлом году, одновременно наступать на юге, на севере, в центре. Война сразу потеряла наиболее привлекавшие его свойства – она стала медленной, тяжелой. Но он не мог не наступать – в этом таилась его обреченность, а не его сила. Он начал тяготиться войной, стал бояться ее, а она все разрасталась и разрасталась, эта зажженная им десять месяцев назад война с Россией, он уже не был властен над ней, ее нельзя было потушить, она ширилась, как степной пожар, ее размах, ее ярость, ее сила, ее продолжительность росли и росли, и ему нужно было во что бы то ни стало закончить ее, но оказалось, что успешно начать войну легче, чем успешно закончить ее.

Вот в этом-то, пока неприметном, отличии и был признак действительного, а не ложного и мнимого хода исторических сил, впоследствии приведшего к гибели почти всех участников того Зальцбургского совещания, на котором фашистский диктатор объявил о своем последнем, решающем наступлении на Советский Союз.

3

Петру Семеновичу Вавилову принесли повестку в самое неподходящее время: подождал бы военкомат еще месяца полтора-два, обязательно оставил бы семью на год с дровами и хлебом.

Что-то сжалось в душе у него, когда он увидел, как Маша Балашова шла через улицу прямо к его двору, держа в руке белый листок. Она прошла под окном, не заглянув в дом, и на секунду показалось, что она пройдет мимо, но тут Вавилов вспомнил, что в соседних домах молодых мужчин не осталось, не старикам же носят повестки. И действительно, не старикам: тотчас загремело в сенях, – видимо, Маша в полутьме споткнулась, и коромысло, падая, загремело по ведру.

Маша Балашова иногда заходила по вечерам к Вавиловым, еще недавно она училась в одном классе с вавиловской Настей, и у них были свои дела. Звала она Вавилова «дядя Петр», но на этот раз она сказала:

– Распишитесь в получении повестки, – и не стала говорить с подругой.

Вавилов сел за стол и расписался.

– Ну, все, – сказал он, поднявшись.

И это «все» относилось не к подписи в разносной книжке, а к кончившейся домашней, семейной жизни, оборвавшейся для него в этот миг. И дом, который он собирался покинуть, предстал перед ним добрым и хорошим. Печь, дымившая в сырые мартовские дни, печь с обнажившимся из-под побелки кирпичом, с выпуклым от старости боком показалась ему славной, как живое, всю жизнь прожившее рядом существо. Зимой он, входя в дом и растопырив перед ней сведенные морозом пальцы, вдыхал ее тепло, а ночью отогревался на овчинном полушубке, зная, где печь погорячей, а где попрохладней. В темноте, собираясь на работу, он вставал с постели, подходил к печи, привычно нашаривал коробок спичек, высохшие за ночь портянки. И все, все: стол с черными полумесяцами от горячей сковороды, и маленькая скамеечка у двери, сидя на которой жена чистила картошку, и щель между половицами у порога, куда заглядывали дети, чтобы подсмотреть мышиную подпольную жизнь, и белые занавески на окнах, и чугун, настолько черный от копоти, что утром его не различишь в теплом мраке печи, и подоконник, где стоял в банке красненький комнатный цветок, и полотенце на гвоздике, – все это стало по-особому мило и дорого ему, так мило, так дорого, как могут быть милы и дороги лишь живые существа. Из троих его детей старший сын Алексей ушел на войну, а дома жила его дочь Настя и четырехлетний, одновременно разумный и глупенький, сынок Ваня, которого Вавилов прозвал «самоваром». И правда, он был похож на самовар: краснощекий, пузатенький, с маленьким крантиком, всегда видным из раскрытых штанишек, деловито и важно сопящий.

Шестнадцатилетняя Настя уже работала в колхозе и на собственные деньги купила себе платье, ботинки и суконный красный беретик, казавшийся ей очень нарядным. Она надевала беретик и смотрелась в зеркало с наполовину облупившейся амальгамой – одновременно видела и беретик и пальцы, которые держали зеркало, но лицо свое и беретик она видела отраженными в зеркале, а на пальцы смотрела, как через окошечко. Вавилов, глядя, как дочь, возбужденная и веселая, в знаменитом берете, выходила гулять, шла по улице среди подруг, обычно с грустью думал, что после войны девушек будет больше, чем женихов.

Да, здесь шла его жизнь. За этим столом сидел ночами Алексей, готовившийся в агрономический техникум, вместе с товарищами решал задачи. За этим столом Настя читала с подругами хрестоматию «Родная литература». За этим столом сидели сыновья соседей, приезжавшие гостить из Москвы и Горького, рассказывали о своей жизни, работе, и жена Вавилова, Марья Николаевна, говорила:

– Что ж, наши тоже в город поедут учиться на профессоров да на инженеров.

Вавилов достал из сундука красный платок, в котором были завернуты справки и метрики, вынул свой воинский билет. Когда он вновь положил сверточек со справками жены и дочери и свидетельством о рождении Вани в сундук, а свои документы переложил в карман пиджака, он почувствовал, что как бы отделился от своего семейства. А дочь смотрела на него новым, пытливым взглядом. В эти мгновения он стал для нее каким-то иным, словно невидимая пелена легла между ним и ею. Жена должна была вернуться поздно, ее послали с другими женщинами ровнять дорогу к станции – по этой дороге возили военные грузовики сено и зерно к эшелонам.

– Вот, дочка, и мое время пришло, – сказал он.

Она тихо ответила ему:

– Вы о нас с мамой не беспокойтесь. Мы работать будем. Только бы вы здоровый вернулись. – И, поглядев на него снизу вверх, прибавила: – Может, Алешу нашего встретите, вам вдвоем там тоже веселей будет.

О том, что ждало его впереди, Вавилов еще не думал, мысли были заняты домом и незаконченными колхозными делами, но эти мысли стали новые, иные, чем несколько минут назад. С утра он собирался положить лату на валенок, запаять дырявое ведро, потом подправить и развести пилу, потом зашить тулуп, подбить каблуки на жениных сапогах. Но сейчас нужно было сделать то, с чем жене самой не справиться. Начал он с самого легкого: насадил топор на готовое, лежавшее в запасе топорище. Потом заменил худую перекладину в лестнице и полез чинить крышу. Он захватил туда с собой несколько новых тесин, топор, ножовку, сумочку с гвоздями. На минутку ему показалось, что он не сорокапятiletний человек, отец семейства, а мальчишка, взобравшийся ради озорной игры на крышу, сейчас выйдет из избы мать и, заслоня ладонью глаза от солнца, поглядит вверх, крикнет:

– Петька, чтоб тебя, слазь! – и топнет в нетерпении ногой, досадуя, что нельзя схватить его за ухо. – Слазь, тебе говорят!

И он невольно поглядел на поросший бузиной и рябиной холм за деревней, где виднелись редкие, ушедшие в землю кресты. На миг показалось ему, он кругом виноват: и перед детьми, и перед покойной матерью – теперь уж не успеет он поправить крест на ее могиле, и перед землей, которую ему не пахать в эту осень, и перед женой – ей на плечи он переложит тяжесть, которую нес. Он оглядел деревню, широкую улицу, избы и дворики, темневший вдали лес, высокое ясное небо, – вот тут шла его жизнь. Белым пятном выделялась новая школа, солнце блестело в ее просторных стеклах, белела длинная стена колхозного скотного двора.

Как он работал, отпуска у него не было! И ведь он не ленился, четырех лет от роду он, переваливаясь на кривых, гнутых ножках, пас гусей, маленьким пальчиком выискивал незамеченные картофелины в ямах, когда мать копала картошку на огороде, и нес их к общей куче, потом, став старше, он пас скотину, потом он копал землю на огороде, носил воду, запрягал лошадь, колол дрова, потом стал пахарем, научился косить, работать на комбайне.

Он плотничал, и стекла вставлял, и точил инструмент, и слесарил, и валял валенки, и чинил сапоги, и сдирал шкуры с зарезанных овец и павших лошадей, и дубил эти шкуры, и шил овчины, и табак сеял, и печь складывал. А сколько сделал он общественной работы. Это он в холодной сентябрьской воде складывал плотину, строил мельницу, мостил дорогу, копал канавы, месил глину, бил камень при постройке колхозного амбара и скотного двора и копал ямы для колхозной картошки. Сколько он вспахал колхозной земли, накосил для колхоза сена, намолотил зерна, сколько мешков перенес на плечах, сколько леса возил для новой школы, сколько дубовых стволов свалил в лесу и обтесал, сколько вбил гвоздей, и много он бил молотом и рубил топором, копал лопатой. Два сезона проработал он на торфе, по три тысячи торфяных кирпичин выбрасывал за день, а пищи было – яичко разомнут на троих, ведро кваса да по кило хлеба, а от комаров на болоте такое гудение, что дизеля не слышно. А сколько он наформовал кирпича. Из этого кирпича и больница, и школа, и клуб, и сельсовет, и колхозное

правление, и даже в район его кирпичи возили. Два лета проработал он лодочником, возил грузы для фабрики; течение такое, что пловец не осилит его, а лодка поднимала пятьсот пудов, жилами выгребали.

Он все оглядывал: дома, огороды, улицу, тропинки, оглядывал деревню, как оглядывают жизнь. Вот прошли к правлению колхоза два старика – сердитый спорщик Пухов и сосед Вавилова Козлов, его за глаза звали Козликом. Вышла из избы соседка Наталья Дегтярева, подошла к воротам, поглядела направо, налево, замахнулась на соседских кур и вернулась обратно в дом.

Нет, останутся следы его труда.

Он видел, как в деревню, где отец его знал лишь соху да цеп, косу да серп, вторглись трактор и комбайн, сенокосилки, молотилки. Он видел, как уходили из деревни учиться молодые ребята и девушки и возвращались агрономами, учителями, механиками, зоотехниками. Он знал, что сын кузнеца Пачкина стал генералом, что перед войной приезжали гостить к родным деревенские парни, ставшие инженерами, директорами заводов, областными партийными работниками.

Иногда по вечерам они собирались поговорить о жизни. Старик Пухов считал нынешнюю жизнь хуже прежней. Он высчитывал, что стоило зерно при царе, что можно было купить в лавке, сколько стоила пара сапог, какие щи варились, и получалось, что жилось тогда легче. Вавилов спорил с ним, он считал, что чем больше народ помогает государству, тем больше сможет государство помочь народу.

Пожилые женщины говорили: мы теперь людьми стали, теперь наши дети в большие люди выходят; а при царе, может, сапоги и дешевле стоили, а нас и детей наших за людей не считали.

Пухов отвечал: на крестьянине всегда государство стоит, а государство, оно тяжелое, и при царе бывал голод – и теперь случается, и при старом режиме с мужика брали – и теперь есть на него налог, были и есть лапотники... Пухов обычно кончал так: а вообще все бы хорошо, только бы не колхозы.

Вавилов еще раз посмотрел вокруг.

Ему всегда хотелось, чтобы жизнь человека была просторна, светла, как это небо, и он работал, поднимая жизнь. И ведь не зря работал он и миллионы таких, как он. Жизнь шла в гору.

Закончив работу, Вавилов слез с крыши, пошел к воротам. Ему вдруг вспомнилась последняя мирная ночь, под воскресенье 22 июня: вся огромная, молодая рабочая и колхозная Россия пела, играла на баянах в городских садах, на танцевальных площадках, на сельских улицах, в рощах, в перелесках, на лугах, у родных речек...

И вдруг стало тихо, не доиграли баяны.

Вот уж год стоит над советской землей суровая, без улыбки тишина.

4

Вавилов пошел в правление колхоза. По дороге он опять увидел Наталью Дегтяреву.

Обычно она смотрела на Вавилова угрюмо, с упреком – у нее на войне были и муж и сыновья. Но сейчас, по тому, как она поглядела на него внимательно и жалостливо, Вавилов понял: Дегтярева уже знает, что и к нему пришла повестка.

– Идешь, Петр Семенович? – спросила она. – Марья-то еще не знает?

– Узнает, – ответил он.

– Ой, узнает, узнает, – сказала Наталья и пошла от ворот в избу.

В правлении председателя не оказалось: уехал на два дня в район.

Вавилов сдал однорукому счетоводу Шепунову колхозные деньги, полученные им накануне в районной конторе Госбанка, получил расписку, сложил вчетверо и положил в карман.

– Ну все, до копеечки, – сказал он, – перед колхозом я не виноват ни в чем.

Шепунов, позванивая медалью «За боевые заслуги» о металлическую пуговицу на гимнастерке, подвинул в сторону Вавилова лежавшую на столе районную газету и спросил:

– Читал, товарищ Вавилов, «В последний час»? От Советского Информбюро?

– Нет, – ответил Вавилов.

Шепунов стал читать:

– «Двадцатого мая наши войска, перейдя в наступление на Харьковском направлении, прорвали оборону немецких войск и, отразив контратаки крупных танковых соединений и мотопехоты, продвигаются на запад. – Он поднял палец, подмигнул Вавилову: — ...продвинулись на глубину двадцать – шестьдесят километров и освободили свыше трехсот населенных пунктов...» Вот и пишут: «Захвачено орудий триста шестьдесят пять, танков двадцать пять, а патронов около миллиона штук...»

Он посмотрел на Вавилова с дружелюбием старого солдата к новичку и спросил:

– Понял теперь?

Вавилов показал ему повестку из военкомата.

– Понял, отчего ж я не понял... Я и другое понял: это пока так, только начало, а к самому делу как раз и я поспею, – и он разгладил повестку на ладони.

– Может, передать что-нибудь Ивану Михайловичу? – спросил счетовод.

– Что ж ему передавать, он и сам все знает.

Они заговорили о колхозных делах, и Вавилов, забыв о том, что председатель «сам все знает», стал наказывать Шепунову:

– Ты передай Ивану Михайловичу: доски, что я с лесопильного завода привез, пусть на ремонт не пускает. Так и скажи. Потом насчет мешков наших, что в районе остались. Надо человека послать, а то пропадут либо заменят их нам. Потом насчет оформления ссуды... так и скажи – Вавилов передал...

Он не любил председателя. Тот гнул свой личный интерес во всех делах, отошел от земли, хитрил. Он составлял отчеты, по которым получалось перевыполнение плана, а все знали, что нету перевыполнения. Он ездил в район и даже в область, возил подарки – то меду, то яблок.

Видимо, он не докладывал к своему председательству – привез из города диван, большую лампу, швейную машину. Когда было награждение области, его наградили медалью «За трудовое отличие». Он носил ее летом на пиджаке, а зимой приколотой к шубе, и, когда он заходил с мороза в натопленное помещение, медаль покрывалась каплями росы.

Он считал, что главное в жизни не работа, а умение обращаться с людьми, говорил одно, а делал другое. К войне он относился просто – понял, что районный военный комиссар во время войны есть одно из главных лиц. И действительно, его сын Володька укрылся за броню, стал работать на военном заводе и иногда приезжал домой за салом и самогоном для нужных людей.

И председатель не любил Вавилова, боялся его, говорил: «Слишком ты для меня поперечный человек, нет в тебе обращения». А председатель обращался только с нужными людьми, с теми, что могли и взять и дать. В колхозе Вавилова многие побаивались – очень он был угрюм и молчалив. Но ему верили и всегда при артельной работе ему поручали получать и хранить деньги, во всех общественных делах и складчинах его выбирали казначеем. Всю свою жизнь не знал он ни судов, ни допросов, и только за год до войны пришлось ему по глупому случаю впервые побывать в милиции.

Как-то вечером в окно его избы постучался пожилой человек, попросился ночевать. Вавилов молча оглядел заросшее черной бородой лицо путника и отвел его в сарай с сеном, постелил ему тулуп, принес молока и кусок хлеба.

Ночью приехали из района на машине ребята в желтых кожаных пальто и пошли прямо в сарай к Вавилову. На обратном пути они прихватили и Вавилова, посадили его в машину, повезли в район. Там начальник спросил, зачем он пустил в сарай этого человека, заросшего бородой.

Вавилов подумал и ответил:

– Пожалел.

– А кто он такой, ты спрашивал его? – спросил начальник.

– А чего спрашивать, я сам вижу – человек, – ответил Вавилов.

Начальник долго, показалось, что очень долго, смотрел в глаза Вавилову и молчал. Потом сказал:

– Ну ладно, иди домой.

После деревенские все смеялись, спрашивали, хорошо ли Вавилова прокатали на легкой.

...Он шел обратно к дому по пустой улице и все ускорял шаги. Его нестерпимо тянуло вновь увидеть детей, дом, казалось – всем телом, не только умом ощутил он тоску близкого расставания.

Он вошел в дом, и все в доме было знакомо и известно, и все знакомое и известное показалось новым, волновало и трогало душу: и комод, покрытый вязаной скатертью, и подшитые валенки с черными заплатами, и ходики, висевшие над широкой кроватью, и деревянные ложки с краями, обгрызенными нетерпеливыми детскими зубами, и фотографии родных в застекленной раме, и большая легкая кружка из тонкой белой жести, и маленькая тяжелая кружка из темной меди, и стиранные, вылинявшие серые штанишки Ванюши, отливающие какой-то грустной, неясной голубизной. И сама изба внутри имела удивительное свойство, присущее русским избам, – была одновременно тесна и просторна. Была она обжита, согрета дыханием хозяев, родителей хозяев, до того уж обжита, что дальше некуда, казалось, и обживать жилье, а с другой стороны, точно люди не собирались в ней долго жить, пришли, положили вещи и вот-вот поднимутся и опять уйдут, оставят двери не заперты... Как в этой избе хороши были дети! С утра, топоча босыми ножками, пробежит Ваня по полу, светлоголовый, точно живой теплый цветочек...

Вавилов помог Ване влезть на высокий стул, и сквозь шершавую мозолистую ладонь дошло до него тепло родного детского тела, а веселые ясные глаза одарили его доверчивым и чистым взором, и голос крошечного человека, ни разу не сказавшего грубого слова, не выкурившего ни одной папироски, не выпившего и капли вина, спросил:

– Папаня, правда ты завтра на войну идешь?

Вавилов усмехнулся, и глаза его стали влажными.

5

Ночью Вавилов при лунном свете рубил сложенные под навесом за сараем пеньки. Эти пеньки в течение многих лет собирались во дворе, были они ободраны и оббиты: остались в них лишь перекрученные, в узлы связанные волокна, которые ни расколоть, ни рассечь, а лишь можно разодрать.

Марья Николаевна, высокая, плечистая, такая же, как и Вавилов, темнолицая, стояла возле него и время от времени нагибалась, подбирала отлетевшие далеко в сторону куски дерева, искоса поглядывая на мужа. И он оглядывался, то взмахивая топором, то наклоняясь. Он видел ее ноги, край платья, то вдруг, распрямившись, смотрел на ее большой тонкогубый рот, пристальные и темные глаза, высокий, выпуклый, без морщин, ясный лоб. А иногда, распрямившись, они стояли рядом и казались братом и сестрой, так одинаково отковала их жизнь; трудный труд не согнул их, а расправил. Они оба молчали, это было их прощание. Он бил топором по упругому, одновременно мягкому и неподатливому дереву, и от удара охала земля, охало в груди у Вавилова; яркое лезвие топора при свете луны было синим, оно то вспыхивало, занесенное высоко вверх, то гасло, устремляясь к земле.

Тихо было кругом. Лунный свет, словно мягкое, льняное масло, покрывал землю, траву, широкие поля молодой ржи, крыши изб, расплывался в окошечках и в лужах.

Вавилов обтер тыльной частью ладони вспотевший лоб и поглядел на небо. Казалось, припекло его летним горячим солнцем, но высоко в небе стояло бескровное, ночное светило.

– Хватит, – сказала ему жена, – на всю войну все равно не напасешь.

Он оглянулся на гору нарубленных дров.

– Ладно, придем с Алексеем с войны, еще дров тебе наколем. – И он обтер ладонью лезвие топора так же, как только что обтер свой вспотевший лоб.

Вавилов вынул кисет и свернул папиросу, закурил; махорочный дым медленно расплывался в неподвижном воздухе.

Они зашли в дом. Тепло дохнуло в лицо, слышалось дыхание спавших детей. Этот спокойный сумрак, этот воздух, головы детей, белевшие в полутьме, – это была его жизнь, его любовь, его счастливая судьба. Ему вспомнилось, как он жил здесь холостым парнем – ходил в синих галифе, в буденовке со звездой, курил трубочку с крышечкой, которую старший брат привез с германской войны. Этой трубочкой он гордился, она придавала ему лихой вид, и люди брали ее в руки и говорили: «Хорошая вещь, интересная вещь». Он потерял ее перед женитьбой.

Он увидел лицо спавшей Насти и оглянулся на жену, и лучшим счастьем в мире показалось ему быть в этой избе, не уходить из нее. Этот именно миг стал самым горьким в его жизни – миг, когда не умом, не мыслью, а глазами, кожей, костями ощутил он в этой сонной предрасветной тишине злую силу врага, которому нет дела до Вавилова, ни до того, что он любил и чего хотел. И с острой мукой и тревогой смешалось чувство любви к детям и жене. На минуту он забыл, что его судьба, судьба спавших на постели детей слилась с судьбой страны и жившего в ней народа, что судьба колхоза, в котором он жил, и судьба огромных каменных городов с миллионами горожан были едины. В горький час сердце его сжалось той болью, которая не знает и не хочет ни утешения, ни понимания. Ему лишь одного хотелось: жить в тех дровах, которые жена будет зимой класть в печь, в той соли, которой она будет солить картошку и хлеб, в том зерне, что привезет она за его трудодни. И он знал, что жить ему в их мыслях и воспоминаниях и в пору обилия, и в дни недостатка, в час нужды.

Жена заговорила быстро, тихо о детях и доме и словно упрекала мужа, точно он уходил по своему легкомыслию.

Ему стало обидно, но он понимал, что ей тяжело и она говорит все это, чтобы не прорвались из души тяжесть и боль.

Он не стал спорить с ней, а потом, когда она замолчала, спросил:

– Собрала мне, что говорил?

Она положила на стол мешок и сказала:

– В мешке весу больше, чем в вещах твоих.

– Ничего, легче идти будет, – примирительно сказал он.

И действительно, весу в мешке было не много: хлеб, скрипящие ржаные сухари, кусок сала, немного сахара, кружка, иголка с моточком ниток, фуфайка, две пары белья, две пары стиранных портянок.

– Рукавицы положить? – спросила она.

– Нет. И фуфайку оставляю, пусть Насте будет, мне выдадут, – сказал Вавилов.

Марья Николаевна молча согласилась, отложила фуфайку в сторону.

– Папаня, – сказала сонным голосом Настя, – а папаня, да вы бы фуфайку свою взяли, мне зачем она?

– Спи, спи, – сказала мать, передразнивая ее сонный голос: – Фуфайку, фуфайку... А сама в чем ходить будешь? Вот пошлют зимой окопы копать, будешь знать тогда.

Вавилов сказал дочке:

– Ты не думай – строгий, я тебя жалею, я тебя люблю, глупенькую.

И девочка заплакала, припала щекой к его руке, сказала:

– Папенька.

– А то возьми фуфайку, – сказала жена.

– Вы хоть письма нам пишите, – всхлипнула Настя. Ему многое хотелось сказать, десятки незначительных и важных вещей, в них он выразил бы свою любовь, а не только заботу о хозяйстве: про то, что надо получше укрыть зимой от мороза молодое сливовое дерево, про то, чтобы не забыли перебрать картошку – она начала преть, про то, чтобы попросить председателя насчет ремонта печки. Хотелось сказать про эту войну, на которую пошел весь народ, и сын их пошел, и вот отцу пришло время пойти.

Но столько было мелкого и важного, значительного и пустякового, что он не стал говорить, все равно всего не высказать.

– Так, Марья, – сказал он, – давай я вам напоследок воды наношу.

Он взял ведра и пошел к колодцу. Ведро, погромыхая об осклизлые стенки сруба, шло вниз. Вавилов наклонился над колодцем, и на него пахнуло холодной влагой, и черный мрак ударил по глазам. В этот миг он подумал о смерти.

Ведро хлебнуло воды сразу по самый край. Оно шло вверх, и Вавилов слушал, как вода падала на воду, и чем выше поднималось ведро, тем звонче становился этот звук. Ведро выплыло из тьмы, и быстрые струи сбегали с него, торопливо и жадно устремлялись обратно во тьму.

Входя в сени, он увидел жену, сидевшую на лавке. В полутьме он не мог ее хорошо разглядеть, но угадывал выражение ее лица.

Она подняла голову и сказала:

– Посиди, отдохни, поешь.

– Ничего, успею, – сказал он.

Уже светало. Он сел за стол. На столе лежала в миске картошка, белел засахарившийся мед на блюде, лежал нарезанный хлеб, стояла кружка молока. Он ел неторопливо. Щеки у него горели, как от зимнего ветра, и в голове дым стоял. Он думал, говорил, двигался, жевал, и казалось, вот сдунет этот дым и тогда он рассудит обо всем.

Жена подвинула ему миску и проговорила:

– Съешь яичек, я полтора десятка тебе в мешок положу, сварила.

Он улыбнулся этой заботе такой застенчивой и ясной улыбкой, что Марью Николаевну словно обожгло. Так улыбался он ей, когда она восемнадцатилетней вошла в эту избу. И женщина почувствовала то, что чувствуют тысячи тысяч таких, как она. Сердце сжалось, и одно оставалось – закричать, чтобы криком выразить и оглушить свое горе. Но она только проговорила:

– Надо бы пирогов напечь, вина купить, да где – война.

А он встал, обтер рот и сказал: «Ну!» и стал собираться.

Они обнялись.

– Петр, – медленно проговорила она, как бы убеждая его опомниться, одуматься.

– Надо, – сказал он.

Движения его были медленны, но он старался не смотреть в сторону жены.

– Надо детей разбудить, а то Настя снова заснула, – рассуждая сама с собой, проговорила Марья Николаевна. Разбудить детей ей хотелось в помощь себе, чтобы поделить с ними тяжесть этой минуты.

– Чего будить, я с вечера с ними простился, – сказал он и прислушался к сонному дыханию дочери.

Он поправил мешок, взял шапку, шагнул к двери, быстро поглядел на жену.

Она вместе с ним обвела глазами стены, но как по-разному видели они эту избу, когда в последнюю минуту стояли рядом на пороге! Она заранее знала, что все ее одиночество увидят эти стены, и они казались ей угрюмы, пусты. А ему хотелось унести в памяти самый добрый для него дом на земле.

Он шел по дороге, а она, выйдя к воротам, смотрела ему вслед, и ей казалось, что она снесет все, все переживет, лишь бы вернулся и хоть час побыл, хоть раз еще посмотреть на него.

– Петр, Петя, – шептала она.

Но он не оглянулся, не остановился, все шел навстречу красной заре, поднявшейся над краем вспаханной им земли. А холодный ветер бил в лицо, выдувая из его одежды тепло, дух жилья.

6

В семейном празднике, устроенном в военные дни 1942 года в доме Александры Владимировны Шапошниковой, вдовы известного инженера-мостостроителя, не было легкомыслия.

В коротком сборе родных, усаживающихся вокруг стола, чтобы поглядеть в лицо готового уйти в далекий путь близкого человека, есть внутренний, трогательный смысл. Недаром обычай этот существовал в различных слоях общества и сохранился, когда исчезли многие обычаи прошлого.

Родные и друзья понимали: это, быть может, последний сбор семьи, кто знает, удастся ли встретиться когда-нибудь.

Было решено позвать Мостовского и старинного знакомого, Андреева. Андреев знал покойного мужа Александры Владимировны с очень давних времен, когда тот, еще студентом-политехником, приезжал на Волгу практиковать машинистом на буксирном пароходе. Андреев служил на этом пароходе кочегаром, и девятнадцатилетний студент Шапошников много раз беседовал с ним на паровой палубе. После у него с семьей Шапошниковых завязалось устойчивое знакомство, и когда Александра Владимировна, вдовой, приехала с детьми в Сталинград, Андреев постоянно навещал ее.

Женя, младшая дочь Александры Владимировны, смеясь говорила:

– Судя по всему, мамин поклонник.

Была позвана также недавняя знакомая Шапошниковых, Тамара Березкина. Тамаре так круто пришлось во время войны, столько на ее долю и долю ее детей выпало скитаний, бомбежек, пожаров, что ее в семье Шапошниковых обычно называли «бедняга Тамара» и говорили: «Что же это не приходит бедняга Тамара?»

Трехкомнатная квартира Шапошниковых, казавшаяся всем просторной – в ней Александра Владимировна жила вдвоем с внуком Сережей, – ныне стала тесной. К Александре Владимировне вскоре после начала летнего немецкого наступления перебралась со Сталгрэса семья средней дочери, Маруси. До этого Маруся с мужем и дочерью Верой жила в доме, примыкавшем к зданию электростанции. Большинство инженеров, имевших родственников в Сталинграде, опасаясь ночных налетов, переселили свои семьи в город.

Степан Федорович, муж Маруси, перевез к теще пианино и часть мебели. Вскоре после переезда Маруси и Веры приехала в Сталинград младшая дочь Александры Владимировны, Женя.

В свободное от дежурств время ночевала у Шапошниковых старинная приятельница Александры Владимировны, доктор Софья Осиповна Левинтон, работавшая хирургом в одном из сталинградских госпиталей.

Накануне внезапно приехал Толя – сын Людмилы, старшей дочери Александры Владимировны, он ехал из военной школы с назначением в армию. Приехал он не один, а со своим дорожным товарищем, лейтенантом, возвращающимся из госпиталя в часть. Когда они вошли в дом, бабушка не сразу узнала Толю в военной форме и строго спросила:

– Вам кого нужно, товарищи? – И вдруг вскрикнула: – Толенька!..

Женя объявила, что необходимо торжественно отметить сбор семьи.

Степан Федорович привез белой муки, и с вечера было расчищено тесто на пироги. Женя добыла три бутылки сладкого вина; Маруся пожертвовала для пира часть неприкосновенного, обменного фонда – пол-литровую бутылку водки.

В то время было принято ходить в гости со своими продуктами – «единоличным» хозяевам трудно было устроить многолюдное пиршество.

Женя с влажными от кухонного жара висками и лицом, в халатике, наброшенном поверх нарядного летнего платья, повязав косынку, из-под которой выбивались темные завитки волос, стояла посреди кухни – в одной руке ее был нож, в другой кухонное полотенце.

– Господи, неужели мама еще не пришла с работы до сих пор? – спросила она у сестры. – Нужно ли его уже поворачивать, а вдруг стогрит, я вашей духовки не знаю.

Она была увлечена печением пирога и думала только о пироге. Маруся, посмеиваясь над хозяйственным пылом младшей сестры, проговорила:

– Я ведь тоже этой духовки не знаю, ты не волнуйся, ведь мама уже дома, там уже пришел кто-то из гостей.

– Маруся, зачем ты носишь этот ужасный коричневый жакет? – спросила Женя. – Ты и так сутулишься, а в нем кажешься совсем горбатой. А темный платочек только подчеркивает седину. Тебе при твоей худобе надо носить светлое.

– Где мне об этом думать, – сказала Маруся, – я скоро бабушкой стану, Вере моей восемнадцать лет, шутка ли?

Она прислушалась к звукам пианино, доносившимся из комнаты, и, нахмутив лоб, посмотрела на Женю сердитым взором своих больших темных глаз.

– Только тебе могло прийти в голову устраивать все это, – сказала она, – перед соседями неловко. Не вовремя, не вовремя ты пировать затеяла.

Женя часто принимала внезапные решения, порой причинявшие ей и близким ее немало огорчений. В школьные годы она то в ущерб занятиям увлекалась танцами, то вдруг воображала себя художником. Ее привязанность к подругам была непостоянна: то она объявляла одну из своих подруг замечательной, благородной, то с горячностью обличала ее грехи. Она поступила на факультет живописи Московского художественного института и кончила его. Иногда Жене казалось, что она отличный мастер, – и она восхищалась своими работами и своими замыслами, то вдруг вспоминала чьи-то равнодушные глаза, чье-то насмешливое замечание – и решала: «Я бездарная корова», и жалела, что не училась прикладным искусствам, раскрашиванию тканей. Двадцати двух лет Женя, студенткой последнего курса, вышла замуж за работника Коминтерна Крымова. Он был старше ее на тринадцать лет. Ей все нравилось в муже: его равнодушие к мещанским удобствам и к красивым вещам, романтическое прошлое участника гражданской войны, его работа в Китае, его коминтерновские друзья. Но вот, хотя Женя и восхищалась мужем, а Крымов, казалось, искренне и сильно любил ее, супружество их не было прочным.

И кончилась их совместная жизнь тем, что в один декабрьский день Евгения Николаевна уложила вещи в чемодан и уехала к матери. Это случилось в 1940 году. Женя так путано объяснила родным причину своего разрыва с мужем, что никто ничего не понял. Маруся назвала ее неврастеничкой, мать спрашивала, не полюбила ли Женя кого-нибудь. Вера спорила с пятнадцатилетним Сережей, которому поступок Жени казался правильным.

– Как ты не понимаешь, – говорил он, – разлюбила – и все, как ты не понимаешь!

– Ну вот, расфилософствовался: полюбила, разлюбила. Что ты в этом смыслишь, минога, – говорила ему двоюродная сестра, учившаяся тогда в девятом классе и считавшая себя искушенной в сердечных делах.

Соседи и некоторые знакомые объяснили событие, происшедшее в Жениной жизни, просто. Одни говорили, будто Женя осторожна и практична, а муж ее не из тех, кто сейчас идет в гору, многие его друзья и знакомые оказались в тяжелом положении, кое-кто оказался не у дел, а некоторые даже подверглись репрессиям, и Женя решила уйти заранее, чтобы не делить с мужем беды. Другие, романтические сплетницы, передавали, что она имела любовника и будто бы муж ее уехал на Урал, но с дороги был вызван телеграммой, застал Женю с возлюбленным.

Есть люди, склонные предполагать лишь низменные причины человеческих действий, и вовсе не потому, что сами плохи, наоборот, часто хулители не сделали бы того, в чем подо-

зревают других. Считается, что такие объяснения человеческих поступков свидетельствуют о житейском опыте, объяснения же, предполагающие благородные побуждения, так кажется этим людям, делаются существами наивными и недальновидными.

Женя, узнав, что говорят по поводу ее развода, ужаснулась...

Но все это было до войны и в этот приезд Жени не вспоминалось.

7

Молодое поколение собралось в маленькой Сережиной комнатке, в которую Степан Федорович ухитрился втиснуть пианино, привезенное со Сталгрэса.

Шел шуточный разговор о том, кто на кого похож и кто не похож. Худой, бледнолицый, темноглазый Сережа походил на мать. От матери были у него черные волосы и смуглая кожа, нервные движения и быстрый, робкий и дерзкий взгляд темных больших глаз. Толя, высокий и плечистый, с широким лицом и широким носом, то и дело поправлявший перед зеркалом светло-соломенные волосы, вынул из кармана гимнастерки фотографию, на которой он был снят рядом с сестрой Надей, худенькой девочкой с длинными тонкими косичками, жившей сейчас с родителями в казанской эвакуации, и все рассмеялись, настолько были не похожи брат и сестра. А Вера, высокая, румяная, с маленьким прямым носиком, не имела никакого сходства с двоюродными братьями и двоюродной сестрой, только живыми и сердитыми карими глазами она походила на свою молодую тетку Женю. Такое совершенное несходство внешности среди составлявших одну семью происходило особенно резко в поколении, рожденном после революции, когда браки между людьми заключались независимо от любых различий и любовь соединяла людей совершенно разных по общественному положению, по крови, нации, языку и происхождению. Внутренние различия между людьми, естественно, тоже были велики, характеры обогащались необычными соединениями.

Утром Толя вместе с попутчиком, лейтенантом Ковалевым, сходили в штаб округа. Ковалев узнал, что его дивизия по-прежнему стоит в резерве где-то между Камышином и Саратовом. Толя тоже имел предписание явиться в одну из резервных дивизий. Молодые лейтенанты решили остаться в Сталинграде на лишние сутки. «Войны на нас хватит, – рассудительно сказал Ковалев, – не опоздаем». Было условлено не выходить на улицу, чтобы не попасться комендантскому патрулю.

Всю трудную дорогу до Сталинграда Ковалев помогал Толе, у него имелся котелок, а у Толи котелок украли в день выхода из школы. Ковалев заранее знал, на какой станции будет кипяток, на каких продпунктах по аттестату дают копченого рыбка и баранью колбасу, а на каких лишь гороховый и пшенный концентрат.

В Батраках он раздобыл фляжку самогона, и они распили ее с Толей. Ковалев рассказал ему о своей любви к девушке-землячке, на которой он женится, как только кончится война.

Он рассказывал ему о войне то сокровенное, что не найдешь в уставах и книгах и что нужно и важно только тем людям, которые воюют, не имея много вероятий дожить до конца войны, а не тем, кто после войны хочет узнать, какова она была.

Дружеское расположение фронтового лейтенанта льстило Толе. В поезде он старался казаться бывалым парнем, а когда речь заходила о девушках, с утомленной усмешкой говорил: «Да, брат, всяко бывает».

Сейчас Толе хотелось поболтать, как никогда, с Сережей и Верой, но он почему-то стыдился их перед Ковалевым, почему – сам не мог понять. Уйди Ковалев, он бы заговорил о том, о чем всегда говорил с двоюродными братом и сестрой. Минутами Ковалев тяготил Толю, и ему становилось стыдно оттого, что возникало такое чувство к верному дорожному товарищу.

Вся жизнь его была связана с миром, где жили Сережа, Вера и бабушка, но встреча с близкими людьми казалась сейчас случайной и мимолетной.

В мире военной службы, где были лейтенанты, политруки, старшины и ефрейторы, трюгальники, кубики, «шпалы» и ромбы, продовольственные аттестаты и проездные литеры, ему суждено было отныне жить. В этом мире встретились ему новые люди, новые друзья и новые недруги, в этом мире все было по-новому.

Толя не сказал Ковалеву, что он хотел поступить на физико-математический факультет и собирался произвести переворот в естественных науках. Он не рассказывал Ковалеву о том, что незадолго до войны начал конструировать телевизор.

По внешности Толя был плечистый, рослый: «тяжеловес» – называли его в семье, а душа у него оказалась робкая и деликатная.

Разговор не вязался. Ковалев выстукивал на пианино одним пальцем «Любимый город может спать спокойно».

– А это кто? – зевая, спросил он и указал на портрет, висевший над пианино.

– Это я, – сказала Вера, – тетя Женя рисовала.

– Не похоже, – сказал Ковалев.

Главную неловкость вносил Сережа, он смотрел на гостей насмешливыми, наблюдающими глазами, хотя ему полагалось бы, как всякому нормальному отроку, восхищаться военными, да еще таким, как Ковалев, с двумя медалями «За отвагу», со шрамом на виске. Он не расспрашивал о военной школе, и это обижало Толю, ему обязательно хотелось рассказать о старшине, о стрельбе на полигоне, о том, как ребята ухитрились без увольнительной записки ходить в кино.

Вера, знаменитая в семье тем, что могла смеяться без всякого повода, просто оттого, что смех был постоянно в ней самой, сегодня была неразговорчива и угрюма. Она присматривалась к гостю, а Сережа точно нарочно затевал самые неподходящие разговоры, со злорадной прозорливостью находил особенно бестактные слова.

– Вера, а ты что молчишь? – раздраженно спросил Толя.

– Я не молчу.

– Ее ранил амур, – сказал Сережа.

– Дурак, – ответила Вера.

– Факт, сразу покраснела, – сказал Ковалев и плутовски подмигнул Вере: – Точно, влюблена! В майора, верно? Теперь девушки говорят: «Нам лейтенанты на нервы действуют».

– А мне лейтенанты не действуют на нервы, – сказала Вера и посмотрела Ковалеву в глаза.

– Во, значит, в лейтенанта, – сказал Ковалев и немного расстроился, так как лейтенанту всегда неприятно видеть девушку, отдавшую сердце другому лейтенанту.

– Знаете что, – сказал он, – давайте выпьем по сто грамм, раз такое дело, у меня в фляжке есть.

– Давайте, – внезапно оживился Сережа, – давайте, обязательно.

Вера сперва стала отказываться, но выпила лихо и закусил солдатским сухариком, добытым из зеленого мешка.

– Вы будете настоящая фронтовая подруга, – сказал Ковалев.

И Вера стала смеяться, как маленькая, морща нос, притопывая ногой и тряся русой гривой волос.

Сережа сразу захмелел, сперва пустился в критику военных действий, а потом стал читать стихи. Толя искоса поглядывал на Ковалева, не смеется ли он над семейством, где взрослый малый, размахивая руками, читает наизусть Есенина, но Ковалев слушал внимательно, стал похож на деревенского мальчика, потом вдруг раскрыл полевую сумку и сказал:

– Стой, дай я спишу!

Вера нахмурилась, задумалась и, погладив Толю по щеке, сказала:

– Ой, Толя, Толенька, ничего ты не знаешь! – таким голосом, точно ей было не восемнадцать лет, а по крайней мере пятьдесят восемь.

8

Александра Владимировна Шапошникова, высокая, статная старуха, задолго до революции кончила по естественному отделению Высшие женские курсы. После смерти мужа она одно время была учительницей, затем работала химиком в бактериологическом институте, а в последние годы заведовала лабораторией по охране труда. Штат в лаборатории был невелик, а во время войны и вовсе уменьшился, и ей приходилось самой ездить на заводы, в железнодорожные депо, на элеватор, на швейные и обувные фабрики, брать пробы при исследовании воздуха и промышленной пыли. Эти поездки утомляли, но Александре Владимировне они были приятны и интересны. Она любила работу химика и в своей маленькой лаборатории сконструировала аппаратуру для количественного анализа воздуха промышленных предприятий, производила анализы металлической пыли, технической и питьевой воды, определяла вредоносные окись углерода, сероуглерод, окислы азота, анализировала различные сплавы и свинцовые соединения, определяла пары ртути и мышьяка. Она любила людей и при поездках на предприятия заводила дружбу с токарями, швеями, мукомолами, кузнецами, монтерами, кочегарами, кондукторами трамваев, железнодорожными машинистами.

За год до войны она взялась вечерами работать в технической библиотеке, делала переводы для себя и для инженеров сталинградских заводов. Она знала иностранные языки – английский и французский, которым учили ее в детстве, а немецкий она изучила, живя с мужем в эмиграции, в немецкой Швейцарии: в Берне и Цюрихе.

Вернувшись с работы, она, подойдя к зеркалу, долго поправляла свои белые волосы, приколола к воротничку блузки брошечку – две эмалевые фиалки. Она задумалась на мгновение, глядя на себя в зеркало, и решительно открепилла брошку, положила ее на столик. Дверь открылась, и Вера громким, смешливым и испуганным шепотом сказала:

– Бабушка, скорей, пришел этот самый грозный старик Мостовской!

Александра Владимировна на секунду замешкалась, вновь приколола брошку и торопливо пошла к двери.

Она встретила Мостовского в маленькой передней, заставленной корзинами, старыми чемоданами и мешками с картошкой.

Михаил Сидорович Мостовской принадлежал к людям той неисчерпаемой жизненной силы, о которых принято говорить: «Это человек особой породы».

Мостовской жил до войны в Ленинграде. Его вывезли из блокады самолетом в феврале 1942 года. Мостовской сохранил легкость походки, хорошее зрение и слух, сохранил память и силу мысли, а главное – сохранил живой, незапыленный интерес к жизни, науке и людям. Он обладал всем этим, несмотря на то что прожил жизнь, которой бы хватило на много людей: столько пришлось на него одного царской каторги, ссылки, бессонных трудовых ночей, лишений, ненависти врагов, разочарований, горечи, радости, печали. Александра Владимировна познакомилась с Мостовским до революции. Это было в ту пору, когда покойный муж ее служил в Нижнем Новгороде, и Мостовской, приехавший туда по конспиративным делам, около месяца прожил у Шапошниковых на квартире. Потом уж, после революции, она, приезжая в Ленинград, навещала его, а ныне, в пору войны, судьба столкнула их в Сталинграде.

Он вошел в комнату и оглядел прищуренными глазами стулья и табуретки, стоящие вокруг накрытого белой скатертью, ожидавшего гостей стола, стенные часы, платяной шкаф, китайскую складную ширму с вытканной шелком фигурой крадущегося тигра среди зелено-желтого бамбука.

– Эти некрашенные книжные полки напоминают мою ленинградскую квартиру, – проговорил Мостовской, – да и не только полки напоминают, но и то, что на полках: вот «Капитал», и Ленинские сборники, и Гегель – по-немецки, а на стене портреты Некрасова и Добролюбова.

Мостовской поднял палец:

– О! Судя по количеству приборов – у вас званый обед. Напрасно вы мне не сказали, я бы надел свой лучший галстук.

Александра Владимировна всегда испытывала перед Мостовским несвойственное ей чувство робости. И сейчас ей показалось, что Мостовской осуждает ее, и она покраснела. Печальна и трогательна краска смущения на старческом лице.

– Подчинилась требованиям дочерей и внуков, – сказала Александра Владимировна, – после ленинградской зимы вам это, вероятно, кажется лишним и странным.

– Наоборот, совсем наоборот, далеко не лишним, – сказал он и, сев к столу, принялся набивать самосадом трубку.

– Пожалуйста, вы ведь курите, – протянул он ей кисет. – Попробуйте моего.

Мостовской вынул из кармана кремень, пухлый белый шнур и кусок стального напильника.

– «Катюша», – сказал он, – не ладится она у меня.

Они переглянулись и улыбнулись друг другу. «Катюша» действительно не ладилась, не давала огня.

– Я сейчас принесу спички, – предложила Александра Владимировна, но Мостовской замахал рукой:

– Что вы, спички, кто их теперь тратит зря.

– Да, теперь держат спички на случай ночных неожиданностей военного времени.

Она пошла к шкафу и, вернувшись к столу, с шутиливой торжественностью сказала:

– Михаил Сидорович, разрешите вам преподнести от всей души, – и протянула непочатый коробок спичек.

Мостовской принял подарок. Они закурили, одновременно затянулись и выпустили дым, он смешался в воздухе, пополз лениво к открытому окну.

– Думаете об отъезде? – спросил Мостовской.

– Как все, но пока еще никаких разговоров нет.

– А куда думаете, если не военная тайна?

– В Казань, туда эвакуирована часть Академии наук, а муж моей старшей дочери, Людмилы, он профессор, собственно, член-корреспондент, получил квартиру, то есть не квартиру – две комнатки, зовет к себе. Но вам-то беспокоиться нечего, за вас подумают.

Мостовской посмотрел на нее и кивнул.

– Неужели их не остановят? – спросила Александра Владимировна, и в голосе ее было отчаяние, как-то не вязавшееся с уверенным и даже надменным выражением ее красивого лица. Она заговорила медленно, с усилием:

– Фашизм действительно так силен? Я не верю этому! Объясните мне, ради бога. Что это? И эта карта на стене, мне иногда хочется ее снять, спрятать. Сережа каждый день переставляет флажки. Как прошлым летом – возникают все новые направления: харьковское, потом вдруг курское, потом волчанское и белгородское. Пал Севастополь. Я спрашиваю у военных, выпытываю – что это? Что с нашими людьми? – Она помолчала и, движением руки как бы отталкивая страшную для себя мысль, продолжала: – Я подхожу к книжным полкам, вот о которых вы говорили, где Пушкин, Чернышевский, Толстой, Ленин, беру в руки книги, листаю их, – нет, нет, мы остановим фашистов, конечно, конечно, остановим!

– Что же вам отвечают военные? – спросил Мостовской.

В это время из-за двери послышался сердитый и смеющийся молодой женский голос:

– Мама, Маруся, где же вы? Ведь пирог сгорит!

Мостовской сказал:

– О, дело, оказывается, нешуточное, пирог!

Александра Владимировна, указав в сторону двери, объяснила:

– Собственно, из-за нее все и устроили, это моя младшая, Женя, вы ее знаете. Неделью назад вдруг приехала. Теперь близкие все разлучаются, а тут такая неожиданная встреча. А тут еще внук, сын Людмилы, проездом на фронт остановился. Вот мы и решили одновременно отметить и встречу и расставание.

– Да, – сказал Мостовской, – жизнь ведь идет...

Шапошникова тихо произнесла:

– Если бы вы знали, как тяжело, и общее горе я воспринимаю не как молодые, а по-стариковски.

Мостовской погладил ее по руке.

– Идите, идите, а то и в самом деле пирог сгорит.

– Наступает решающий момент, – сказала Женя, наклоняясь вместе с Александрой Владимировной над полуоткрытой дверцей духовки. Она сбоку глянула на мать и, приблизив губы к ее уху, произнесла скороговоркой:

– Я утром получила письмо, помнишь, я тебе рассказывала, давно еще, до войны... военный, мой знакомый, Новиков, в поезде встретился... Какое удивительное совпадение и тогда и теперь. Представь, сегодня проснулась и именно его вспомнила, подумала: вот уж кого, наверно, давно нет на свете, а через час письмо... И та наша встреча в поезде, после моего ухода из Москвы, ведь тоже странное совпадение?

Женя обняла мать за шею и стала целовать ее в щеку, в седые волосы, спускавшиеся на виски.

Когда Женя училась в Художественном институте, ей как-то пришлось быть на торжественном вечере в Военной академии. Там она познакомилась с высоким, медленно и тяжело ступавшим военным, старшиной курса. Он проводил ее до трамвая, затем несколько раз был у нее дома. Весной он кончил академию, уехал, написал ей два или три письма, и в этих письмах он не объяснялся в чувствах, однако просил прислать фотографию. Она послала ему маленькую карточку, снятую в пятиминутке для паспорта. Потом он перестал писать ей, она уже к этому времени кончила Художественный институт, вышла замуж.

Когда она после разрыва с мужем ехала к матери, в Воронеже в ее купе вошел плечистый светловолосый военный.

– Вы не узнаете меня? – спросил он, протягивая ей большую белую руку.

– Товарищ Новиков, – сказала она, – конечно, я вас узнала. Почему вы тогда перестали мне писать?

Он усмехнулся и, молча вынув маленькую, вложенную в конвертик фотографию, показал ей.

Это был снимок, посланный ему когда-то.

– Я вас узнал, когда ваше лицо мелькнуло в окне, – сказал он.

Соседи по купе, две пожилые врачихи, прислушивались к каждому их слову. Эта встреча была для них развлечением. Разговор шел общий, одна врачиха, с футляром от очков, торчавшим из карманчика жакетки, говорила без умолку, вспоминала все неожиданные встречи, бывшие в ее жизни, в жизни ее родных и знакомых. Женя была благодарна болтливой докторше – Новиков, видимо, ждал сердечного, важного разговора, считал, что встреча эта не случайная, а Жене хотелось лишь одного – молчать. Он сошел в Лисках, обещав написать ей, но не написал. И вот от этого Новикова вдруг пришло письмо, напомнившее Жене ее тогдашние «предвоенные» мысли и чувства, казалось навсегда ушедшие.

Александра Владимировна, глядя на дочь, хлопотавшую у плиты, подумала, что к белой шее Жени очень идет эта тоненькая золотая цепочка, а темные волосы отливают золотом оттого, что она удачно подобрала гребень. Но и цепочка на шее, и гребень в волосах были хороши лишь оттого, что живая красота молодой женщины коснулась их. Александре Влади-

мировне казалось, что тепло идет не от покрасневшихся щек дочери, ее белых рук и полураскрытых губ, а откуда-то из глубины ее ярких карих глаз, таких повзрослевших и так много видевших и таких неизменно детских, какими были они двадцать лет назад.

9

За стол уселись к пяти часам. Для почетного гостя поставили плетеное кресло, но Мостовской отказался от почета и сел рядом с Верой на табуретке; слева от него сидел молодой светлоглазый военный с двумя вишневыми кубиками на углах отложного воротника. В кресло посадили Степана Федоровича.

– Вы, Степан, должны сидеть здесь как глава семьи, – сказала Александра Владимировна.

– Папа – главный источник света, тепла и соленых помидоров, – сказала Вера.

– Дядя – начальник семейного ремонтного треста, – добавил Сережа.

Действительно, Степан Федорович заготовил теще на зиму соленые помидоры и обеспечил ее топливом. Он умел все чинить: электрические утюги, чайники, водопроводные краны, ножи стульев.

Усевшись, он искоса поглядывал на дочку. Русыми волосами, высоким ростом, румяными щеками Вера походила на него. Иногда он вслух сожалел, что дочь не похожа на Марусю. Но в душе он радовался тому, что узнавал в ней черты своих деревенских сестер и братьев.

Степан Федорович Спиридонов вместе с десятками и сотнями тысяч людей прошел простой путь, который стал настолько обычен, что никто не видел в нем ничего удивительного.

Степан Федорович, главный инженер, а затем управляющий Сталгрэса, тридцать лет назад пас коз за фабричным поселком под Наро-Фоминском. И теперь, когда немцы пошли от Харькова на юг, прямо к Волге, он задумался о своей жизненной судьбе, оглянулся на свои прошедшие годы и подивился тому, кем был и кем стал. Он был известен как инженер, наделенный смелым умом. Ему принадлежало несколько изобретений и нововведений в производстве электрической энергии, и даже в толстом руководстве по электротехнике упоминалась его фамилия. Он был руководителем большой ГРЭС, кое-кто считал его слабым администратором – заберется в цех и сидит там целый день, а в это время секретарь отбивается от телефонных звонков. Однажды он сам просил, чтобы его перевели с административной работы, но в глубине души обрадовался, когда нарком не внял его ходатайству. Степан Федорович и в административной работе находил много интересного и приятного для себя. Ему нравилось напряжение директорской работы, он не боялся ответственности. Рабочие относились к нему хорошо, хотя он бывал шумлив, а иногда и крут. Он любил выпить под хорошую закуску, любил ходить в ресторан и обычно тайно от жены хранил сотни две-три рублей, он их называл «подкожные». Но он был хорошим семьянином, очень любил жену, гордился ее ученостью и был готов на любой труд ради своей Маруси, дочери и всех близких.

За столом рядом со Спиридоновым сидела Софья Осиповна, пожилая женщина с толстыми плечами, с мясистыми красными щеками, с двумя майорскими «шпалами» на гимнастерке. Софья Осиповна говорила отрывисто, хмуря брови, и, по рассказам подруг Веры, работавших в том госпитале, где Софья Осиповна заведовала хирургическим отделением, ее побаивались не только санитары и сестры, но и врачи. Она и до войны работала хирургом – может быть, вообще характер ее подходил для этой профессии, а профессия в свою очередь наложила некоторую печать на характер. Она участвовала в качестве врача во многих экспедициях академии: то на Камчатке, то в Киргизии, два года прожила на Памире.

Софья Осиповна вставляла в разговор киргизские и казахские слова, и Вера и Сережа за те несколько недель, что она жила у Шапошниковых, переняли у нее эту манеру и вместо «ладно» говорили «хоп», вместо «хорошо» – «джахши».

Она любила музыку и стихи и обычно, придя с суточного дежурства, ложилась на диван, заставляя Сережу читать Пушкина и Маяковского. Когда она, полужакрыв глаза и дирижируя рукой, тоненько напевала «В храм я вошла смиренно», лицо ее становилось таким смешным, что у Веры надувались щеки от смеха, и она выбегала на кухню.

Софья Осиповна любила карточные игры; раза два она играла со Степаном Федоровичем в очко, а большей частью – для отдыха, как она говорила, с Верой и Сережей в подкидного дурака. Во время игры она сердилась, шумела, а потом, вдруг смешав карты, говорила:

– Ох, дети мои, видно, мне в эту ночь не спать, пойду-ка я снова в госпиталь.

Рядом с ней села худая женщина с миловидным, поблекшим и утомленным лицом – Тамара Дмитриевна Березкина, жена командира, пропавшего в самом начале войны. Глядя на такие тонкие и измученные женские лица с прекрасными, печальными глазами, всякому думается, что для суровой, жестокой жизни такие существа не приспособлены.

Тамара Дмитриевна жила перед войной с мужем на границе. В день объявления войны она выбежала из горящего дома в халате и туфлях на босу ногу, держа на руках маленькую дочь, больную корью; рядом, уцепившись за ее халат, бежал сын Слава.

Так, с больной девочкой на руках и с босым мальчуганом, ее посадили на грузовик, и она пустилась в тяжкий, долгий путь, добралась до Сталинграда, кое-как устроилась – помог военкомат. Она в горсовете случайно познакомилась с Марией Николаевной, работавшей старшим инспектором отдела народного образования, затем с Александрой Владимировной.

Александра Владимировна отдала Тамаре свое пальто и боты, настояла на том, чтобы Маруся устроила Славу в интернат.

Рядом с Тамарой сидел старик Андреев, важный и хмурый. Это был человек лет шестидесяти пяти, но в его черных густых волосах почти не было седины. Худое, длинное лицо старого рабочего казалось замкнутым и холодным.

Александра Владимировна задумчиво сказала, погладив по плечу Тамару Дмитриевну:

– Вот, может быть, и нам суждена эвакуационная горькая чаша. Кто мог только думать, такой глубокий тыл! – Она вдруг ударила по столу ладонью и сказала: – Вот что, Тамара, в случае чего вы поедете с нами. Устроимся у Людмилы в Казани. Что с нами будет, то и с вами.

Тамара сказала:

– Спасибо большое, но для вас ведь обуза ужасная.

– Пустяки, – решительно сказала Александра Владимировна, – не время думать об удобствах.

Маруся шепнула мужу:

– Пусть меня простит бог, но мама определенно живет вне времени и пространства. У Людмилы в Казани две крошечные комнатки.

Степан Федорович добродушно махнул рукой:

– Мамаша – она по себе меряет. Вот мы к ней все ворвались и все себя у нее как дома чувствуем. И кровать свою она тебе уступила, ты и не подумала отказаться.

Степана Федоровича всегда восхищало практическое неразумие тещи. Она обычно вела знакомство с людьми, душевно ей приятными, но в большинстве с такими, которые не только не могли оказаться полезными, но и сами нуждались в помощи. Степану Федоровичу нравилась эта черта – и он не гнался за высокими знакомствами, но он понимал практическую ценность людей и, когда нужно было, умел отличить полезного и нужного человека, а Александра Владимировна была в этом отношении как слепая.

Степан Федорович несколько раз заходил на работу к Александре Владимировне, он любил наблюдать уверенность ее движений, легкость и умелость, с какой обращалась она со сложной химической аппаратурой для титровального и газового анализа. Он, сам мастер на все руки, сердился и раздражался, когда племянник Сережа не мог сменить перегоревшие пробки либо когда Вера медленно и неловко шила и штопала. Степан Федорович не только столярничал, слесарил, мог сложить печь; дома, в часы отдыха, он придумал смешное приспособление, с помощью которого можно было, сидя в кресле, зажигать и тушить свечи на новогодней елке, и сконструировал такой занятный звонок к двери, что с Тракторного завода приезжал инженер

посмотреть его устройство. Ему ничего не давалось в жизни даром, и он презирал растяп и бездельников.

– Ну как, товарищ лейтенант, не подпустите немцев к Сталинграду? – спросил Степан Федорович.

– Наше дело такое, – снисходительно ответил светлоглазый Ковалев, чувствуя свое превосходство над людьми тыла, – прикажут – будем драться!

– Приказ давно есть, с первого дня войны, – сказал, посмеиваясь, Степан Федорович.

Лейтенант принял слова Степана Федоровича на свой счет.

– В тылу легче рассуждать, – сказал он, – а вот на переднем крае, когда минометы бьют, сверху пикирует авиация, там другое рассуждение. Да, Толя?

– Да уж точно, – неопределенно сказал Толя.

– Вот теперь я вам скажу, – повышая голос, сказал Степан Федорович, – за Дон немцы не пройдут. На Дону совершенно неприступная оборона.

– Ну, если вы так уверены, Степан Федорович, – сказала Софья Осиповна, – то не надо вам заниматься перевозкой и упаковкой вещей.

– Вы уже забыли, видно! – вскрикнул Сережа тонким голосом. – Вспомните, как в прошлом году все говорили: «Вот дойдет до старой границы и там остановится».

– Внимание! Воздушная тревога, – закричала Вера, – внимание, внимание! – и указала в сторону кухонной двери.

Женя, сопровождаемая Тамарой Дмитриевной, раскрасневшейся и потому похорошевшей, внесла бледно-голубое блюдо. Тамара Дмитриевна торопливо поправляла на ходу белое полотенце, прикрывавшее пирог.

– Краешек сгорел, – объявила Женя, – я прозевала все-таки.

– Сгоревший краешек я съем, не беспокойся, – сказала Вера.

– А я вам говорю, что через Дон он не перейдет, на Дону ему крышка! – проговорил Степан Федорович и встал, взмахнув длинным ножом: ему всегда за столом поручались такие ответственные операции, как дележ арбуза или разрезание пирога. Боясь раскрошить пирог и не оправдать доверия, Степан Федорович прибавил:

– Вообще-то говоря, пирог должен остыть, а потом уж его режут.

– А вы как думаете? – спросил Сережа, уставившись на Мостовского. Но Мостовской молчал.

– На Дон идет, Украину всю прошел, пол-России прошел, – угрюмо сказал Андреев.

– Что ж вы считаете? – спросил Мостовской.

– Считать не полагается, – сказал Андреев, – что вижу, то и говорю, а считают другие люди, может быть, поумней меня.

– А почему вы уверены, что на Дону ему крышка? – снова с волнением спросил Сережа. – Где же этот рубеж? Вот и Березина была, и Днепр, а вот Дон, вот Волга, где же рубеж? Иртыш, Амударья? Где же эта река?

Александра Владимировна внимательно глядела на внука: его обычная молчаливость и застенчивость исчезли. Александра Владимировна объяснила это тем, что Сережа был взбудоражен присутствием лейтенантов.

Александра Владимировна была права, но тут имелось еще одно, более простое обстоятельство, ей неизвестное: перед обедом Сережа хлебнул из фляжки Ковалева. Голова у него затуманилась, и он сам себе стал казаться необычайно умным, строгим, справедливым, но он не был уверен, ясно ли видят его многочисленные достоинства Мостовской и лейтенанты. Вера наклонилась к нему и спросила:

– Сережка, ты пьяный?

– Ничего подобного, – сердито ответил он.

– Видите ли, милый мой, – сказал Мостовской, повернувшись к Сереже, и за столом стало тихо, так как всем хотелось услышать, что он скажет. – Вы, конечно, помните миф об Антее: с каждым шагом по земле Антей становится сильнее. К этому следует сегодня добавить рассказ об анти-Антее, о фальшивом, противоположном Антею, мнимом богатыре. Когда этот фальшивый богатырь начинает шагать по земле, которую он завоевывает, то каждый шаг не прибавляет ему силы, как Антею, а убавляет ее. Не он питается силами земли, а враждебная ему земля забирает его силы, и он кончает тем, что падает, его валят. В этом различие между истинным богатырем истории Антеем и мнимым, фальшивым лжебогатырем, возникающим, как плесень. А советская сила – огромная сила. И есть у нас партия, чья воля собирает, организует спокойно и разумно всю мощь народа.

Сережа, наморщив лоб, смотрел на Мостовского блестящими темными глазами, и тот, рассмеявшись, погладил его по голове.

Мария Николаевна поднялась, взяла со стола бокал с вином и сказала:

– Товарищи, выпьем за нашу Красную Армию!

Все потянулись чокаться с Толей и Ковалевым, наперебой желать им успехов и здоровья.

Затем началась церемония разрезания пирога. Этот пышный, румяный пирог мирных времен всех умилил и обрадовал, но одновременно вызвал грусть и воспоминания о прошедшем, всегда кажущемся людям таким хорошим.

Степан Федорович сказал жене:

– Помнишь, Маруся, наше студенческое житье? Вера кричит не своим голосом, тут же пеленки висят, а мы с тобой гостей принимаем да еще пирогом угощаем?

– Помню, конечно, помню, – сказала она, улыбаясь.

Александра Владимировна, растягивая задумчиво слова, сказала:

– Да, пироги я пекла в Сибири, когда мужа выслали за участие в студенческих волнениях. Напеку пирогов с брусничкой либо из нельмы, придут товарищи... Ах, боже мой, как далеко это время!

– Хороши пироги с фазанами, я их ела в долине Иссык-Куля, – сказала Софья Осиповна.

– Джахши, джахши, – в один голос сказали Сережа и Вера.

– Боже мой, – сказала Маруся, – неужели Гитлер у нас все хочет отнять: нашу жизнь, дом, близких, даже воспоминания наши?

– Давайте условимся сегодня не говорить о войне, – проговорила Женя, – только о пирогах.

В это время маленькая Люба подошла к Тамаре Дмитриевне и, указывая на Софью Осиповну, сказала восторженно:

– Мама, тетя мне дала во какой ком сахару! – И, разжав пальчики, с торжеством показала кусок пиленого сахара, увлажненный теплом ее одновременно беленького и грязного кулачка.

– Видишь, видишь, – сказала она громким шепотом, – не надо уходить домой, может быть, еще дадут что-нибудь.

Люба оглянулась на лица, обращенные к ней, потом увидела растерянные глаза матери, спрятала голову у нее в коленях и заплакала.

Софья Осиповна погладила девочку по голове и шумно вздохнула.

Вновь заговорили о том, что терзало всех: об отступлении, о том, что, может быть, придется ехать на Урал либо в Сибирь.

– А если со стороны Сибири японцы на нас пойдут, что тогда? – спросила Женя.

Степан Федорович заговорил о «бывших» людях, которые не собираются уезжать, ждут немцев.

– А вот я слышал о парне, – сказал Сережа, – которого когда-то не хотели принимать по социальному происхождению в летную школу, а он все же добился, окончил школу и вот, рассказывают, погиб, как Гастелло!

– Погляди на детей, – проговорила Александра Владимировна, обращаясь к Софье Осиповне. – Толя, комсомолец, стал взрослый человек, наш защитник, а ведь до войны приезжал к нам совершенно ребенок. И голос другой, и манеры, и глаза какие-то...

– Ты обрати внимание, как его приятель все на нашу Женю поглядывает, – тихим басом сказала Софья Осиповна.

– А позпрошлым летом, когда Людмила с Толей гостили у нас, Толя гулять пошел, а в это время дождь... Людмила схватила плащ, калоши и кинулась к Волге его искать: «Мальчик простудится, расположен к ангине...»

А на другом конце стола начался спор.

– Это драп, бегство, – говорил Сережа.

– Ничего не драп, – сердито отвечал Ковалев. – Мы бои вели от самой Касторной.

– Так почему же так стремительно отступали?

– Вот ты повоевал бы, так не спрашивал. Я за всех отвечать не могу, а наш полк дрался! Да как дрался!

– А некоторые раненые у нас в госпитале, – сказала Вера, – считают, что все опять, как в сорок первом.

– Вот на переправах, там тяжело, – сказал Ковалев, – бомбит день и ночь. Там побежишь. Моего друга убило, а меня подранило. Ночью навесит ракеты и бомбит, как зверь.

– Он и нам тут даст, – сказала Вера. – Боюсь бомбежки!

– Это как раз не страшно, – вмешалась в разговор Мария Николаевна, – мы пока в глухом тылу, у нас кольцо зенитной обороны, говорят, не слабее московской. Если прорвутся, то единичные только!

– Ну, это вы бросьте, знаем мы эти единичные, – снисходительно усмехнулся лейтенант. – Верно, Толька? Он не хочет пока! Если он на земле, гражданка, прорывается через водные рубежи, то с воздуха даст прикурить, будьте спокойны! У него тактика – удар с воздуха, подготовка и сразу удар танками.

Этот юноша был здесь самым опытным, уверенным и больше других знал о войне. Говорил он усмехаясь, снисходя к наивности своих собеседников.

Вере Ковалев напоминал тех лейтенантов, что лежали в госпитале. Они с разгоряченными лицами яростно спорили между собой о том, что было понятно лишь им одним, насмешливо поглядывали на сестер. Этот Ковалев был, однако, похож и на тех довоенных ребят, что, приходя в гости, играли с ней в подкидного и в домино, участвовали в школьных кружках и брали у нее на два вечера «Как закалялась сталь».

– А по-моему, дело плохо, – сказала Софья Осиповна, – зло сильней добра.

Молчание наступило за столом.

– Пожалуй, пора затемнять окна, – сказала Мария Николаевна и, прижав кулаки к вискам, точно преодолевая боль, пробормотала: – Война, война...

– Теперь бы самое время еще стопочку выпить, – проговорил Степан Федорович.

– После сладкого, Степан? – спросила Маруся. Лейтенант снял с пояса фляжку.

– Хотел на дорогу оставить, но ради таких людей... Ну, Анатолий, будь здоров. Я решил не ночевать, сейчас пойду.

Ковалев разлил желтоватую водку Анатолию, Степану Федоровичу, себе и потряс пустой флягой перед Сережей, в ней постучала пробка.

– Вся.

В полутемной передней Ковалев втолковывал Жене:

– Рассуждать можно так и этак. А вот я через пять дней снова буду на передовой. Понятно?

Он смотрел на нее пристальными, одновременно злыми и ласковыми глазами. Да, она понимала – он просил ее любви и сочувствия. И сердце сжалось у нее, так ясно видела она простую и суровую судьбу этого юноши.

Степан Федорович обнял за плечи лейтенанта, словно собрался уйти вместе с ним. Он выпил лишнего, и Мария Николаевна смотрела на него с таким упреком, точно эта лишняя стопка водки имеет не меньше значения, чем все трагические события войны.

Стоя в дверях, Ковалев с внезапным бешенством сказал:

– Рассуждение происходит, почему отступаем? Хорошо рассуждать! Все вы родину защищаете, а наше дело маленькое, мы воюем. А тут – как бывает? Ляжешь отдохнуть в обороне, а он за ночь сорок километров прошел строго на восток. Что тогда скажешь, а? Я видел бюрократов, в тыл драпают, только ветер свистит. Тот, кто на передовой, у того душа живет! Я правильной правды хочу! Голодные бойцы, командиры из окружения через фронт прорываются, а бюрократы на них пальцами тычут! А сами пошли бы в полицию служить!

Лицо Ковалева побледнело, он хлопнул дверью и на лестнице выругался.

Вера сказала:

– Вот думала сегодня от госпиталя отдохнуть...

Мостовской, когда Женя вернулась из передней в столовую, спросил у нее:

– Вы от Крымова ничего не получаете?

– Нет, – сказала она. – Но я знаю, что он в армии.

– Да, я и забыл, – сказал Мостовской и развел руками, – я и забыл, что вы расстались...

Но должен доложить вам, человек он хороший, я ведь его давно знаю, еще юношей, мальчиком.

10

В доме Шапошниковых, едва ушли гости, воцарился дух покоя и мира. Толя вдруг вызвался мыть посуду. Такими милыми казались ему семейные чашки, блюда, чайные ложечки после казенной посуды. Вера, смеясь, повязала ему платочком голову, надела на него фартук.

– Как чудно пахнет домом, теплом, совсем как в мирное время, – сказал Толя.

Мария Николаевна уложила Степана Федоровича спать и то и дело подходила к нему пощупать пульс – ей казалось, что он всхрапывает из-за сердечных перебоев.

Заглянув в кухню, она сказала:

– Толя, посуду и без тебя вымоют, ты лучше напиши маме письмо. Не жалеете вы тех, кто вас любит.

Но Толе не хотелось писать письмо, он расшалился, как маленький, подзывал кота, подражая голосу Марии Николаевны.

Потом он стал на колени, пытался боднуть кота в лоб, подманивал его:

– Ну, ну, давай, давай, баран, баран, буц!

– Будь мирное время, – сказала мечтательно Вера, – мы завтра с самого утра на пляж бы пошли, лодку бы взяли, правда? А теперь даже купаться не хочется, я в этом году на пляже ни разу не была.

Толя ответил:

– Будь мирное время, я бы с утра поехал с дядей Степаном на электростанцию. Мне хочется ее посмотреть, хоть и война, а хочется.

Вера наклонилась к нему и тихо сказала:

– Толя, я все хочу рассказать тебе одну вещь.

Но в это время пришла Александра Владимировна, и Вера, плутовски подмигнув, замотала головой.

Александра Владимировна стала расспрашивать Толю, трудно ли ему было в военной школе, бывает ли у него одышка при быстрой ходьбе, научился ли он хорошо стрелять, не жмут ли сапоги, есть ли у него фотографии родных, нитки, иголки, носовые платки, нужны ли ему деньги, часто ли получает письма от матери, думает ли о физике.

Толя чувствовал тепло родной семьи, оно было сладостно и одновременно тревожило и расслабляло, делало особо тяжелой мысль о завтрашнем расставании; в огрубении душа легче переносит невзгоды. Евгения Николаевна вошла в кухню, на ней было надето синее платье, в котором она приезжала на дачу к Толиной матери.

– Давайте на кухне чай пить, Толе это будет приятно! – объявила она.

Вера пошла звать Сережу и, вернувшись, сказала:

– Он лежит и плачет, уткнулся в подушку.

– Ох, Сережа, Сережа, это по моей части, – сказала Александра Владимировна и пошла к внуку.

11

Выйдя из дома Шапошниковых, Мостовской предложил Андрееву погулять.

– Погулять? – усмехнулся Андреев. – Разве старики гуляют?

– Пройтись, – поправился Мостовской. – Давайте походим, вечер прекрасный.

– Что ж, можно, я завтра с двух работаю, – сказал Андреев.

– Устаете сильно? – спросил Мостовской.

– Бывает, конечно.

Этот небольшого роста старик, с лысой головой, с маленькими внимательными глазами, понравился Андрееву.

Некоторое время они шли молча. Очарование летнего вечера стояло над Сталинградом. Город чувствовал Волгу, невидимую в лунных сумерках, каждая улица, переулок – все жило, дышало ее жизнью и дыханием. Направление улиц и покатость городских холмов и спусков – все в городе подчинялось Волге, ее изгибам, крутизне ее берега. И огромные, тяжелые заводы, и маленькие окраинные домики, и многоэтажные новые дома, оконные стекла которых расплывчато отражали летнюю луну, сады и скверы, памятники – все было обращено к Волге, принаикало к ней.

В этот душный летний вечер, когда война бушевала в степи в своем неукротимом стремлении на восток, все в городе казалось особенно торжественным, полным значения и смысла: и громкий шаг патрулей, и глухой шум завода, и голоса волжских пароходов, и короткая тишина.

Они сели на свободную скамейку. С соседней скамейки, где сидели две парочки, поднялся военный, подошел к ним по скрипящей гальке, посмотрел, потом вернулся на место, что-то негромко сказал, послышался девичий смех. Старики смутились и покашлили.

– Молодежь, – сказал Андреев голосом, в котором одновременно чувствовались и осуждение и похвала.

– Мне говорили, что на заводе работают эвакуированные ленинградцы, рабочие с Обуховского завода, – сказал Мостовской. – Хочу к ним съездить: земляки.

– Это у нас, на «Октябре», – ответил Андреев. – Я слышал, их немного. А вы приезжайте, приезжайте.

– Вам пришлось участвовать, товарищ Андреев, в революционном движении при царском режиме? – спросил Мостовской.

– Какое мое участие – листовки читал, конечно, две недели посидел в участке за забастовку. Ну и с мужем Александры Владимировны беседовал. На пароходе я кочегаром был, а он студентом практику отбывал. Выходили мы с ним на палубу и вели беседу.

Андреев вынул кисет. Они зашуршали бумагой, стали свертывать самокрутки. Тяжелые искры щедро и легко скользнули вниз, но шнур не хотел принять искру.

Сидевший на соседней скамейке военный весело и громко сказал:

– Старики жизни дают, «катюшу» в ход пустили.

Девушка рассмеялась.

– Ах, черт побери, забыл я драгоценность, коробок спичек, Шапошникова мне подарила, – сказал Мостовской.

– А вы как считаете, – спросил Андреев, – положение все-таки трудное? Антей Антеем, а немец прет. А?

– Положение трудное, а войну Германия все-таки проиграет, – ответил Мостовской. – Я думаю, что и внутри Германии немало врагов у Гитлера. Ведь в Германии есть революционные рабочие, интернационалисты.

– Кто их знает, – сказал Андреев. – Рассказывали танкисты, пленных брали и рабочих всяких – одинаковые, говорят, все.

– Да-а-а, – задумчиво и негромко проговорил Мостовской, – нехорошо, если вы, старый рабочий, не видите ясно разницы между гитлеровским правительством и немецким рабочим классом...

Андреев повернулся к Мостовскому и живо сказал:

– Я понимаю, вы хотите, чтобы народ против Гитлера воевал и помнил: пролетарии всех стран, соединяйтесь! Хорошо бы, да немец всю землю сегодня нашей русской кровью залил...

Мостовской сидел сторбившись, казалось, дремал. А в мозгу его вдруг возникла картина пережитого почти два десятилетия назад: огромный зал конгресса, разгоряченные, счастливые, возбужденные глаза, сотни родных, милых русских лиц и рядом лица братьев-коммунистов, друзей молодой Советской республики – французов, англичан, японцев, негров, индусов, бельгийцев, немцев, китайцев, болгар, итальянцев, венгров, латышей. Весь зал вдруг замер, казалось, это замерло сердце человечества, и Ленин, подняв руку, сказал конгрессу Коминтерна ясным, уверенным голосом: «Грядет основание международной Советской республики...»

Андреев, видимо охваченный доверием и дружелюбием к старику, сидевшему рядом с ним, тихо пожаловался:

– Сын мой на фронте, а у невестки все гулянки да в кино, а со свекровью – как кошка с собакой... Понимаешь, какое дело...

12

Мостовской жил одиноко, жена его умерла задолго до войны. Одинокaя жизнь приучила Михаила Сидоровича к заботе о порядке. Просторная комната его была чисто прибрaнa, на письменном столе аккуратно лежали бумаги, журналы, газеты, а книги на полках стояли на отведенных им по чину местах. Работал Михаил Сидорович обычно по утрам. Последние годы он читал лекции по политэкономии и философии и писал статьи для энциклопедии и философского словаря.

Знакомств у него в городе завелось немного. Изредка к нему приезжали за консультацией преподаватели философии и политической экономии. Они его побаивались, так как он отличался резким характером и был нетерпим в спорах.

Весной Мостовской заболел крупозным воспалением легких, и эта болезнь еще не оправившегося от ленинградской блокады старика казалась врачам смертельной. Мостовской превозмог болезнь, стал поправляться. Доктор оставил Михаилу Сидоровичу длинную программу постепенного перехода от постельного режима к обычному образу жизни.

Михаил Сидорович внимательно прочел программу, пометил отдельные пункты красными и синими птичками и на третий день после того, как встал с постели, принял холодный душ и натер паркет в комнате.

В нем сидел упрямый задор, он не хотел благоразумия и покоя.

Иногда ему снилось прошедшее время, и в ушах его звучали голоса давно ушедших друзей, ему казалось, он говорит речь и из маленького лондонского зaльцa на него глядят живые глаза, он узнавал бородатые лица, высокие крахмальные воротнички, черные галстуки друзей. Он просыпался среди ночи и долго не засыпал; возникали видения далекого прошлого: студенческие сходки, споры в университетском парке, прямоугольная плита над могилой Маркса, пароходик, плывущий по Женевскому озеру; зимнее бушующее Черное море, Севастополь; душный арестантский вагон, стук колес, хоровое пение и грохот приклада в дверь; ранние сибирские сумерки, скрип снега под ногами и далекий желтый огонь в окне избы, огонь, на который он шел ежевечерне в течение шести лет своей сибирской ссылки.

Те тяжелые, темные дни были днями его молодости, днями суровой борьбы и ожидания того великого, ради чего жил он на свете.

Ему вспоминалась бессонная работа в годы создания Советской республики, губернский комиссариат просвещения, армейский политпросвет, работа по теории и практике планирования, участие в разработке плана электрификации, работа в Главнауке.

Он вздыхал. О чем печалился он, о чем вздыхал? Или просто вздыхало усталое, больное сердце, которому трудно день и ночь гнать кровь по обызвествленным, суженным артериям и венам?

Иногда он шел до рассвета к Волге, уходил далеко по пустому берегу, под глинистый обрыв, садился на холодные камни и смотрел на приход света, на пепельные ночные облака, вдруг взбухавшие розовым теплом жизни, на знойный ночной дым над заводом, терявший при лучах солнца свою кровь и становящийся серым, скучным, пепельным.

Он сидел на камнях, глядел на молодевшую при косом свете черную воду, на крошечную, вершковую волну, тихо, робко всползавшую по плотному, плоскому песочку, и на то, как тысяча тысяч песчинок, блистая, втягивали воду.

Грозное видение ленинградской зимы вставало перед ним: улицы в снежных и ледяных холмах, тишина смерти и грохот смерти, кусочек хлеба на столе, саночки, саночки, саночки, на которых везли воду, дрова, мертвецов, прикрытых белыми простынями, ледяные тропинки, ведущие к Неве, заиндевевшие стены домов, поездки в воинские части и на заводы, выступление на митинге ополченцев, серое небо, рассеченное прожекторами, розовые пятна ночных

пожаров на стеклах, вой сирен, памятник Петру, обложенный мешками с песком, и всюду живая память о первом биении молодого сердца революции – Финляндский вокзал, пустынная красота Марсова поля, Смольный, – и над всем этим мертвенно-бледные, с живыми, страдающими глазами лица детей, упрямое и терпеливое героичество женщин, рабочих и солдат. И сердце его наполнялось такой режущей болью, что казалось, оно не выдержит страшной тяжести. «Зачем, зачем я уехал?» – думал он с тоской.

Михаилу Сидоровичу хотелось написать книгу о своей жизни, и ему представлялись отдельные части ее: детство, деревня, отец-дьячок, учение в четырехклассном училище, подполье, годы советского строительства...

Он не любил переписываться с теми из старых друзей, что писали много о болезнях, о санаториях, о кровяном давлении, о склерозе.

Мостовской видел, чувствовал, знал: никогда за тысячелетнюю историю России не было такого стремительного, напряженного движения событий, такой уплотненной смены пластов жизни, как за последнюю четверть века. Да, и в прежние, дореволюционные годы все текло и изменялось, и тогда человек не мог дважды вступить в одну реку. Но так медленно текла эта река, что современники видели все одни и те же берега, и откровение Гераклита казалось им странным и темным.

Но кого из тех, кто жил в России в советское время, удивляла истина, озарившая грека? Она ныне из области философского мышления возведена в ощущение действительности, общее академикам и рабочим, колхозникам и школьникам.

Михаил Сидорович много думал об этом. Стремительное, неукротимое движение! Все напоминало, твердило о нем. Движение было во всем: в почти геологическом изменении пейзажа, в огромности охватившего страну просвещения, в новых городах, появляющихся на географической карте, в новых кварталах и улицах, в новых домах и в новых, все новых жилых домах этих домов. Это движение вызывало из неизвестности, из туманных дальних деревень, из сибирских пространств сотни новых, гремевших по всей стране имен, и оно же безжалостно погружало в неизвестность бывших недавно известными и знаменитыми. Газеты, вышедшие десять лет назад, походили на пожелтевшие свитки – такая толща событий лежала между временами. За короткие годы материальные отношения совершили могучий скачок. Новая, Советская Россия прынула на столетие вперед, прынула всей огромной тяжестью своей, триллионами тонн своих земель, лесов, она меняла то, что от века казалось неизменным, – свое земледелие, свои дороги, русла рек. Исчезли тысячи русских кабаков, трактиров, кафешантанов, исчезли епархиальные училища, институты благородных девиц, исчезли монастырские уголья, помещичьи экономии и усадьбы, особняки капиталистов, биржи. Исчезли, разбитые и развеянные революцией, истаяли огромные слои людей, составлявших костяк эксплуататорских классов и тех, кто обслуживал их, людей, бытие которых казалось вечно прочным, людей, о которых народ слагал песни гнева, людей, чьи характеры описывали великие писатели: помещики, купцы, фабриканты, биржевые маклеры, кавалергарды, ростовщики, полицмейстеры и жандармские унтеры; исчезли сенаторы, статские, действительные статские и тайные советники, коллежские асессоры – весь пестрый и огромный, громоздкий, разделенный на семнадцать классов мир русского чиновничества; исчезли шарманщики, шансонетки, лакеи, дворецкие... Из обихода исчезли понятия и слова: паныч, барыня, господин, милостивый государь, ваше благородие и многие другие.

Рабочий и крестьянин стали управителями жизни. Родился новый мир невиданных профессий и характеров: фабричные и сельские плановики, ученые крестьяне-полеводы, ученые пасечники, животноводы, огородники, колхозные механики, радисты, трактористы, электрики. Родилось невиданное в России народное просвещение, которое можно сравнить лишь со взрывом солнечного света астрономической силы; если б свет народного просвещения, вспыхнувший в России, мог иметь эквивалент в электромагнитных волнах, астрономы иных

миров зарегистрировали бы в 1917 году вспышку новой звезды, свет которой все разгорался. Простые люди, «четвертое сословие», рабочие и крестьяне, внесли свой простой, сильный и своеобразный характер в мир высших государственных отношений – стали маршалами, генералами, областными и районными руководителями, отцами гигантских городов, управителями рудников, заводов и земельных угодий. Сотни новых промышленных производств породили тысячи новых профессий, выявили, сгруппировали и сформировали новые характеры. Пилоты, бортмеханики, воздушные штурманы, радисты, водители автомашин и тягачей, рабочие и инженеры промышленности синтетической химии, электрохимии, электроэнергетики высоких напряжений, высокочастотники, фотохимики, термохимики, геологи, авиа- и автоконструкторы представляли собой характеры людей нового, советского общества.

И теперь, в самую тяжелую пору войны, Мостовской ясно видел, что мощь советской державы во много раз больше силы старой России, что миллионы трудовых людей, составляющих главную основу нового общества, сильны своей верой, грамотностью, знаниями, любовью к советскому отечеству.

Он верил в победу. И одного лишь хотелось ему: несмотря на свои годы, забыв о них, стать непосредственным участником военной борьбы за свободу и достоинство народа.

13

Быстрая, поворотливая старуха Агриппина Петровна, носившая Мостовскому обед из обкомовской столовой, готовившая ему утренний чай и стиравшая белье, по многим признакам отлично видела своими прищуренными глазами, как сильно переживал Михаил Сидорович события войны.

Часто, когда она заходила утром в комнату, постеленная с вечера кровать оставалась несмятой, Мостовской сидел в кресле у окна, и подле на подоконнике стояла пепельница, полная окурков.

Агриппина Петровна знала лучшие времена: при царизме покойный муж ее держал лодочную переправу через Волгу.

Вечером Агриппина Петровна обычно выпивала у себя в комнатке стопочку и выходила на двор посидеть на скамейке, поговорить с людьми. Этим она удовлетворяла потребность в беседе, возникающую после выпивки почти у всякого. Хотя собеседники были трезвы, зато у старухи приятно туманилась голова, и бойко, весело шел разговор. Говорила она, обычно прикрывая рот краешком платка и стараясь не дышать в сторону своих всегдашних собеседниц: дворничихи – суровой Марковны и вдовы сапожника Анны Спиридоновны. Агриппина Петровна сплетен не любила, но потребность поговорить с людьми была в ней действительно сильна.

– Вот, бабы, какое дело, – сказала она, подходя к скамейке и сметая фартуком пыль, прежде чем сесть, – вот, бабы, раньше старухи думали – коммунисты церкви закрывают... – Она поглядела на открытые окна первого этажа, громко, чтобы слышно было, произнесла: – Ох же и антихрист Гитлер этот проклятый, ох же и антихрист, чтоб ему на том свете добра не было. Говорят люди, в Саратове митрополит служит, во всех соборах молебствия идут. И народу, народу, и старые, и какие хотите. Все, как есть, все против него, против Гитлера этого рогатого, все поднялось! – Тут она вдруг понизила голос. – Да, женщины, и в нашем доме вещи паковать стали, на базар люди ходят, чемоданы, веревки покупают, мешки шьют. А Михаил Сидорович ох и переживает, с лица даже потемнел, сегодня пошел к старухе Шапошниковой, про отъезд договариваться. И обедать не стал.

– А что ему? – недоверчиво спросила Марковна. – Одинокий, старый.

– Что ты говоришь, ей-богу, что ты, ей-богу, говоришь. Он первым должен уехать. Его со света немцы сотрут. Все ходит, узнает. Вот и сегодня сорвался. Партийный ведь, ленинградский старый большевик, шутишь? Я вижу, сохнет прямо. Ночи не спит. Курит! Пенсия тысячу рублей. Карточки все литерные. Так жить – умирать не надо. А тут Гитлер его аннулирует.

Женщины беседовали в темноте. О чем только не говорили они! Потом Марковна, оглянув окна, произнесла:

– Опять на третьем этаже у этой Мельниковой свет видно. Не соблюдает маскировки.

Грозным сильным басом Марковна крикнула:

– Эй, на третьем этаже, слышишь тама, что ли?

Старухи поднялись со скамейки, и Агриппина Петровна пошла к дому. Спиридоновна и Марковна на минуту задержались, чтобы осудить Агриппину Петровну.

– И опять от нее винный дух, – сказала Спиридоновна. – И где берет вино, деньги откуда?

– Где берет? Она Михаила Сидоровича обкрадывает. Господи, господа, – вдруг пугаясь, произнесла Марковна, – за какие грехи на нас этот сатана немецкий послан!

14

В сумерках провожали к вечернему поезду Толю. Он, точно впервые поняв, что ждет его, был весь напряжен, но старался казаться безразличным и спокойным; он видел расстроенное лицо бабушки, понимал, что Александра Владимировна чувствует его тревогу, и это его сердило и волновало.

– Ты написал домой? – спросила она.

– Ах, боже мой, – раздражаясь, ответил он, – что вы от меня хотите? Я маме все время писал, не написал сегодня – напишу завтра.

– Не надо сердиться, прости меня, пожалуйста, – поспешно сказала Александра Владимировна.

Но и эти слова его раздосадовали.

– Что вы, ей-богу, со мной, как с шизофреником, разговариваете.

Но тут рассердилась бабушка.

– Милый мой, – сказала она, – возьми-ка себя в руки.

За полчаса до расставания Толя позвал двоюродного брата:

– Сережа, зайди сюда на минутку.

Он вынул из вещевого мешка тетрадь, обернутую в газетную бумагу.

– Вот что. Эта тетрадка – мои записки, тут конспекты книг, мои собственные мысли. Тут я записал план моей жизни до шестидесяти лет, я ведь решил посвятить себя науке, работать, не теряя ни дня, ни часа. Ну, в общем, понимаешь... Если я... Словом, ты понимаешь, храни ее в память обо мне. Ну, в общем... и все такое.

Несколько мгновений они, потрясенные, смотрели друг на друга, не находя слов. Толя сжал Сереже руку, крепко, судорожно, так, что у того побелели пальцы.

Дома были лишь бабушка и Сережа. Толя прощался с ними торопливо, видимо боясь раскиснуть.

– Пусть Сережа не идет на вокзал, я не люблю, когда на вокзале провожают. – И, уже стоя в коридоре, он сказал Александре Владимировне поспешно, скороговоркой: – Я жалею, что заехал, отвык от близких, как-то загрубел, а тут сразу оттаял, если б знал, что так будет, лучше бы проехал мимо, я и маме оттого не написал...

Александра Владимировна сжала меж ладоней его большие, горячие от волнения уши и, притянув его к себе, сдвинула пилотку и долгим поцелуем поцеловала в лоб. Он замер, внезапно озаренный воспоминанием самой ранней поры детства – воспоминанием о чувстве счастливого покоя, испытанного им на руках у бабушки.

И ныне, когда она была стара и немощна, а он, воин, силен, вдруг все смешалось – и сила, и беспомощность его; он прижался к ней всем телом, замер, проговорил «бабуля», «бабуся» – и, пригнув голову, бросился к двери.

15

Вера осталась в госпитале на ночное дежурство. После вечернего обхода она вышла в коридор.

В коридоре горела синяя лампочка. Вера открыла окно и облокотилась на подоконник.

С четвертого этажа хорошо был виден город, освещенный луной, белый блеск реки. Замаскированные окна домов сияли голубым слюдяным светом. В этом недобром свете не было жизни, в его ледяной голубизне уже не содержалось тепла – то был свет, отраженный от мертвой поверхности луны и вновь, еще раз отраженный от пыльных стекол и холодной ночной воды. Он был хрупок, неверен, и стоило немного повернуть голову, как свет исчезал, оконные стекла и волжская вода становились черными, неживыми.

По левому берегу Волги шла машина с зажженными фарами. Высоко в небе скрестились лучи двух прожекторов, и казалось, что кто-то бесшумно работал голубыми ножницами, стриг в небе курчавые облака. Внизу, в садике, вспыхивали красные огоньки и слышались негромкие голоса: очевидно, раненые из палаты выздоравливающих ускользнули через кухонные двери и тайно курили. Ветер доносил с Волги свежесть воды, и ее чистый, прохладный запах то побеждал тяжелый госпитальный дух, то отступал перед ним, и тогда казалось, что не только госпиталь, но и весь город, луна и Волга пахнут эфиром и карболовой кислотой и что по небу ползут не облака, а пыльные хлопья ваты.

Со стороны изолятора, где умирали трое безнадежных, раздавались неясные стоны.

Вера знала этот монотонный стон умирающих, которые ничего не просили: ни еды, ни воды, ни морфия.

Открылась дверь изолятора, и оттуда вынесли носилки. Впереди шел низкорослый рябой Никифоров, сзади – высокий худой Шулепин, делая неестественно маленькие шажки, чтобы попасть в одну скорость с Никифоровым.

Никифоров, не оборачиваясь, говорил:

– Реже шаг, нажимаешь.

На носилках лежало тело, покрытое одеялом.

Казалось, сам мертвец натянул на голову одеяло, чтобы не видеть этих стен, этих палат и коридоров, где выпало ему столько страданий.

– Кто это? – спросила Вера. – Соколов?

– Нет, это новый, – ответил Шулепин.

Вера вообразила: «Вот я, генерал медицинской службы, прилетаю из Москвы, главный хирург вводит меня в изолятор, говорит: «Этот безнадежен». – «Нет, вы не правы, подготовьте его немедленно к операции, я сама буду оперировать».

Из командирской палаты на третьем этаже послышался смех и негромкое пение:

Таня, Татьяна, Танюша моя,
Помнишь ли знойное лето это...
Разве мы можем с тобою забыть
Все, что пришлось пережить...

Пел выздоравливающий Ситников. Потом кто-то стал подпевать, видимо техник-интендант 3-го ранга Квасюк с переломом ноги: он вез в полutorке арбузы для столовой, и на него налетела трехтонка с боеприпасами.

Ситников несколько дней приставал к Вере, просил принести ему спирту из аптеки.

– Хоть пятьдесят грамм, – говорил он. – Девушка, неужели жалко для солдата!

Вера отказывала ему, но с тех пор, как Ситников познакомился с Квасюком, от них нередко пахло спиртным духом, должно быть, нашли сочувствие у дежурной по аптеке.

Здесь, стоя у окна, она ощущала два мира, что жили, казалось, не соприкасаясь: один с бестелесным, голубым светом, то вспыхивающим, то исчезающим в окнах, мир освещенной ночной воды, прохлады, звезд, неясный, ни на что не похожий, рожденный из героических романов, из ночных мечтаний, мир, без которого, казалось ей, и не стоило жить. Ах, какая сладкая чушь приходила ей в голову!

А второй был рядом, он подступал к ней отовсюду, шевелил ее волосы, входил в ее ноздри, шуршал в ее халате, пропахшем лекарствами, стучал сапогами, стонал, дымил махоркой. Он был во всем: в скучных учетных карточках, которые она заполняла, в сердитых замечаниях врачей, в пшенной каше с постным маслом, в нотациях комиссара госпиталя, в уличной пыли, в завывании сирены, в нравоучениях мамы, в разговорах о ценах, в очередях, в ссорах с Сережей, в семейных обсуждениях достоинств и слабостей родственников и знакомых, в туфлях на резиновой подошве, в пальто, перешитом из старого папиного пальто.

Вера различила за спиной негромкий стук костылей. Она оперлась локтями на подоконник и, вытянув шею, стала смотреть в небо. Она заставляла себя смотреть на облака, на звезды, на игру лунного света в стеклах, но ее ухо напряженно ловило стук костылей, шедший из тьмы коридора. Такой звук был лишь у одной пары госпитальных костылей.

– О чем мечтаете? – спросил юношеский голос.

Она молчала, будто не слыша, потом вздохнула, будто внезапно возвращенная от мечтаний к действительности, удивленно оглянулась, тряхнула головой и медленно, будто все еще не придя в себя, произнесла:

– Это вы, Виктор? Я и не слышала, как вы подошли.

Ей стало тут же смешно от своего притворства и неестественного голоса, и она рассмеялась.

– Чего вы? – спросил он и сам рассмеялся, выражая покорную готовность делить с ней ее настроение, будь то веселье, будь то грусть, потому лишь только, что это ее настроение. Но Вера сказала:

– Нет, все пустое, я прекрасно слышала, что вы идете сюда, и нарочно сделала вид, будто выпала в мечтания.

Но эта правда тоже не была правдой, а лишь игрой в правду: она чувствовала – эти слова выгодны для ее любви, нужны, чтобы показаться ему совсем особенной, странной, не похожей на других. Учиться игре этой было невозможно и не нужно – невозможно, потому что она была слишком сложна и трудна, не нужно, потому что она с необычайной простотой сама рождалась в душе.

– Ну, что вы, – искренне и живо сказала Вера, услышав те слова, что хотела слышать, – я совершенно обыкновенная, таких в нашем городе пятьдесят тысяч, скучная, неинтересная.

Викторова привезли месяц назад из степи, где упал его самолет, расстрелянный «мессерами». Он лежал, склонив голову на длинной тонкой шее, побледневшее лицо его казалось грязным, пыльным, а глаза смотрели с каким-то странным, тронувшим ее выражением тоски и детского испуга.

Когда летчика раздевали, он посмотрел на Веру, потом перевел глаза на свое заношенное белье и отвернулся. Вера внезапно смутилась, и слезы выступили у нее на глазах.

К ней иногда приставали с ухаживаниями выздоравливающие, в коридорах некоторые прямо-таки нахально пытались ее обнять. Один политрук объяснился ей в любви в письменной форме, предлагал пожениться и, выписавшись из госпиталя, просил, чтобы она дала ему свою фотографию.

Старшина Виктор с ней никогда не разговаривал, но, когда она входила в палату, она чувствовала его внимательный взгляд.

Она сама заговорила с ним:

– Ведь ваша часть недалеко, почему к вам никто из товарищей не приезжает?

Он объяснил:

– Я был переведен в новый полк, а в прежнем полку летный состав почти весь новый.

– Страшно? – спросила она.

Он поколебался, не сразу ответил, и она поняла, что он подавил желание ответить ей так, как обычно молодые летчики отвечают девушкам на подобные вопросы. Глянув исподлобья на ее руки, он серьезно сказал:

– Страшно.

Они оба смутились: он и она почувствовали – им хотелось особенных, не случайных, не пустых отношений, и эти особенные отношения вдруг возникли, точно колокол торжественным ударом дал им обоим знать об этом.

Оказалось, что он сталинградец, работал когда-то на Сталгресе слесарем и знал Степана Федоровича – тот нередко приходил шуметь в механическую мастерскую.

Но общих знакомых у них не было. Викторов жил в шести километрах от станции и после работы сразу шел домой, не оставался на сеансы в клубе и не участвовал в спортивных командах.

– Я не люблю спорта, – сказал он, – я люблю читать.

Вера заметила, что ему нравились те книги, которые читал Сережа и которые были ей не очень интересны.

– Я больше всего любил исторические читать, только доставать их хуже нет, в клубной библиотеке их маловато, я в город ездил по воскресеньям и из Москвы выписывал.

Относились к нему раненые хорошо. Вера однажды слышала, как один политработник сказал о нем:

– Хороший парень, серьезный.

Она покраснела, словно при матери посторонние хвалили сына.

Он много курил. Она приносила ему табак и папиросы и видела, что вся палата дымила, когда у него было курево.

На руке у Викторова был вытатуирован якорь с куском каната.

– Это когда я в фабричной школе учился, – объяснил он и добавил: – О, я тогда бедовый был, меня даже исключить раз хотели, хулиганил.

Ей нравилась его скромность, он не хвастался рассказами о своих боевых полетах, и когда говорил о них, то всегда о товарищах, самолете, моторе, погоде, взлетных условиях, а не о самом себе. Ему больше нравилось разговаривать о мирном времени. Когда затевался в палате разговор о фронтовых случаях, он обычно молчал, хотя, видимо, мог рассказать больше, чем главный оратор Ситников, служивший в артснабжении.

Он не был красив: худой, узкие плечи, нос широкий, большой, глаза маленькие. Но Вере казалось, что и его движения, и улыбка, и манера сворачивать папиросу и смотреть на часы очень хороши.

Она знала, что он некрасив, но так как он нравился ей, то и в этой некрасивости она видела достоинство Викторова, а не недостаток. Он тем и был особенным, что не все могли увидеть и понять, какой он, и только она могла видеть и понять это.

Когда Вере было двенадцать лет, она собиралась выйти замуж за Толю, а в восьмом классе она влюбилась в комсорга, ходила с ним в кино и ездила на пляж. Ей казалось, что она уже все знает, и, снисходительно улыбаясь, слушала, когда дома заходил разговор о любви и романах. В десятом классе были девушки, говорившие: «Замуж надо выходить за тех, кто старше лет на десять, у кого есть положение в жизни...»

Но оказалось все не так...

Окно в коридоре стало местом их встреч, и часто, стоило ей, урвав свободную минуту, подойти к этому окну и подумать о Викторове, как слышался стук его костылей, словно к нему доходила телеграмма от нее.

А случалось, они стояли рядом, и Виктор, задумавшись, глядел в окно, она молча смотрела на него, и он резко поворачивался и говорил:

– Что?

– Отчего это? – спрашивала она.

Часто они говорили о войне, порой этот разговор меньше способствовал их внутренней беседе, чем случайные, ребячьи слова.

– Мне смешно, что вы старшина. Старшина – старый, какой же вы старшина в двадцать лет!

В этот вечер он подошел к ней, и они стали рядом, их плечи касались, и хотя они все время говорили, но слушали друг друга невнимательно, и главным в их разговоре было то, что ее плечо вдруг отклонялось, и он замирал, ожидая нового прикосновения, а она доверчиво поворачивалась к нему, и он вновь ощущал это казавшееся ему случайным прикосновение и искоса глядел на ее шею, на ухо, щеку, на прядку волос. Лицо юноши при свете синей лампочки казалось темным и печальным. Она посмотрела на него, и ею овладело ожидание беды.

– Я не понимаю, вначале казалось, что я вас просто жалею, как раненого, а теперь мне жалко становится самое себя, – сказала она.

Ему хотелось обнять ее, и он подумал, что и она этого хочет и ждет, снисходительно наблюдая его нерешительность.

– Почему жалко? – спросил он.

– Я не знаю почему, – ответила она и посмотрела на него снизу вверх, как дети смотрят на взрослых.

Он задохнулся от волнения и потянулся к ней. Костыли упали на пол, и он тихонько вскрикнул – не оттого, что ступил на больную ногу, а от одной мысли, что может ступить на больную ногу.

– Что с вами, голова закружилась?

– Да, – сказал он, – голова закружилась, – и он обнял ее за плечи.

– Я сейчас подниму костыли, а вы держитесь за подоконник.

– Зачем, так лучше, – сказал он. Они стояли обнявшись, и ему казалось, что не она поддерживает его, беспомощного и неловкого, а он ее защищает, прикрывает от огромного, враждебного, вещающего недоброе ночного неба.

Он выздоровеет и будет барражировать на своем «Яке» над госпиталем и над Сталгрэсом. Вот он снова слышит рев мотора, он идет стремительно в хвосте «юнкерса», и он опять ощутил то понятное лишь летчику стремление к сближению с несущим смерть врагом; мерцающая сиреневая трасса бесшумно мелькнула перед глазами, и он увидел злое, белое лицо немецкого стрелка-радиста, таким, каким однажды увидел его в бою над Чугуевом.

Он отпахнул полу своего больничного халата и прикрыл им Веру, и она прижалась к нему.

Так стоял он несколько мгновений молча, опустив глаза, ощущая тепло ее дыхания и прелесть ее груди, прижавшейся к нему, и подумал, что готов год простоять так на одной ноге, обнимая эту девушку в пустом темном коридоре.

– Ничего не нужно, – внезапно сказала она. – Я сейчас подниму костыли.

Она помогла ему сесть на подоконник.

– Почему? За что это нам? Так бы все могло быть хорошо... Мой двоюродный брат сегодня на фронт уехал. Утром хирург сказал: у вас необычайно скоро идет заживление, через десять дней вас выпишут.

– Ну и пусть, – проговорил он с беспечностью мужчины, не думающего о будущем в любви, – ну и пусть будет что будет, зато сейчас нам хорошо.

Он усмехнулся:

– А знаете, то есть... отчего я так быстро поправляюсь? Оттого, что я вас люблю...

Ночью она лежала в дежурке на маленьком деревянном диванчике, крашенном белой масляной краской, и думала.

В этом огромном пятиэтажном доме, полном стонов, страданий, крови, могла ли выжить родившаяся любовь?

Ей вспомнились носилки, мертвое тело, прикрытое одеялом, и острая, режущая жалость к человеку, которого санитары понесли в могилу, человеку, чьего имени она не знала и чье лицо забыла, охватила ее с такой силой, что она вскрикнула и поджала ноги, точно укрываясь от удара.

Но вот именно теперь она знала, что этот безрадостный мир дороже ей небесных дворцов ее детских мечтаний.

16

Утром Александра Владимировна в своем неизменном темном платье с белым кружевным воротничком, накинув на плечи пальто, вышла из дому. У подъезда ее ожидала лаборантка Кротова – они вместе должны были на грузовике поехать исследовать воздух в цехах химического завода.

Александра Владимировна села в кабину, а Кротова, коренастая молодая женщина, лихо, по-мужски ухватила за борт и влезла в кузов.

– Товарищ Кротова, следите за аппаратурой на ухабах, – сказала Александра Владимировна, выглянув из окошечка кабины.

Водитель машины, щупленькая молодая женщина в лыжных штанах, с головой, повязанной красным платочком, положила на сиденье вязанье и включила мотор.

– Дорога – асфальт, ухабов нет, – сказала она и, с любопытством оглядев старую женщину, добавила: – Вот выедем на шоссе – нажмем на железку.

– Вам сколько лет? – спросила Александра Владимировна.

– О, я пожилая, двадцать четыре.

– Мне ровесница, – усмехнулась Шапошникова. – Замужем?

– Была, теперь опять девка.

– Убит муж?

– Нет, в Свердловске, на Уралмаше, другую жену взял.

– И дети есть?

– Есть девочка, полтора года.

Они выехали на шоссе, и водительница, скосив веселый светлый глазок, стала расспрашивать Александру Владимировну о ее дочерях, внуках, о том, для чего она везет в кузове пустые стеклянные баллоны, резиновые шланги и изогнутые трубки; стала рассказывать о своей жизни.

Муж прожил с ней полгода и уехал на Урал, все писал: «Вот-вот дадут квартиру», а потом началась война, на фронт его не взяли, имел броню. Он писал все реже, сообщал, что живет в общежитии для холостых, никак не получит комнаты, а зимой вдруг прислал письмо, что женился, спрашивал, отдаст ли она ему дочку. Дочку она ему не отдала и на письмо не ответила, но до суда дело не дошло, он ежемесячно высылает ей на ребенка двести рублей.

– Пусть хоть тысячу посылает, я ему никогда не прощу, а пусть и не посылает – я дочку сама прокормлю, зарабатываю ничего, – сказала молодая женщина.

Машина бежала по шоссе – мимо садов, мимо маленьких домиков с серыми, обшитыми тесом стенами, мимо заводиков и заводов, и голубые пятна волжской воды то появлялись в просвете между деревьями, то исчезали за стенами домов, заборами, холмиками.

Александра Владимировна, приехав на завод и получив пропуск, прошла в главную контору: она хотела попросить прикомандировать к ней техника или лаборанта, чтобы подробнее ознакомиться с расположением аппаратов и устройством вентиляции. Кроме того, Александра Владимировна хотела попросить хоть на час чернорабочего: Кротовой трудно было переносить на руках двадцатилитровые бутылки-аспираторы.

Директор завода Мещеряков жил в одном доме с Шапошниковыми, и Александра Владимировна иногда видела, как он утром садился в автомобиль, размахисто захлопывал дверцу и все махал рукой, посылал воздушные поцелуи жене, стоявшей у окна.

Она хотела поговорить с Мещеряковым шутливым тоном, сказать ему: «Вы уж пойдите мне навстречу, помогите, соседushка, закончить обследование и сделать предложения об улучшении вентиляции».

Но разговор не состоялся. Александра Владимировна слышала через полуприкрытую дверь директорского кабинета, как Мещеряков сказал секретарше:

– Принять я ее сегодня не могу. И вообще передайте ей: теперь не время для разговоров о вредности и здоровье, теперь люди не только здоровьем, а жизнью жертвуют на фронте.

Александра Владимировна подошла к директорской двери, и если б кто-либо из близких, знавших ее характер, увидел ее плотно сжатые губы и злую морщину, легшую от переноса, он бы подумал, что Мещерякову сейчас придется пережить несколько неприятных минут. Но Александра Владимировна не вошла в директорский кабинет, а постояв мгновение, быстро, не дождавшись появления секретарши, ушла в цех.

В большом жарком цехе рабочие сперва насмешливо наблюдали, как женщины устанавливали стеклянные баллоны-аспираторы, набирали пробы воздуха через шланги в разных местах цеха, зажимали винтовыми зажимами резиновые трубки, выпускали воду из зегеровских пипеток то у того места, где стоял аппаратчик, то у главного вентиля, то над баками с пахучим полуфабрикатом. Худой небритый рабочий в синем халате, прорванном на локтях, сказал протяжно, по-украински выговаривая:

– Що дурни робять, воду миряють...

Молодой мастер, а может быть, и химик, с дерзкими, недобрыми глазами, сказал Кротовой:

– Вот налетят немцы, они нам вентиляцию без вас наладят.

А старик с маленькими красными щечками в синих жилках, поглядывая на молодую, статную Кротову, произнес несколько слов, которых Александра Владимировна не расслышала, но слова, видимо, были крепкие, – Кротова покраснела, обиженно отвернувшись.

В обеденный перерыв Александра Владимировна села на ящик у двери – она устала, тяжелый воздух расслаблял. К ней подошел паренек-ремесленник и спросил:

– Тетенька, а чего вы это делаете? – и указал пальцем на стеклянные аспираторы.

Она стала объяснять ему устройство аспиратора, рассказала о газах, вредящих здоровью рабочих, о дегазации, о вентиляции.

К ним подошли рабочие послушать, и тот украинец, который грубо пошутил насчет дурней, меряющих воду, глядя, как Александра Владимировна сворачивает махорочную папиросу, сказал: «А ну, может, мой корешок крепче» – и протянул ей красный мешочек, завязанный тесемкой.

Разговор пошел общий. Сперва поговорили о вредности работы на разных производствах. У рабочих-химиков было горькое чувство гордости – их работа считалась самой вредной, вредней, чем у забойщиков в шахте и у горновых и сталеваров на металлургических заводах.

Рассказали про несколько случаев отравления и удушья, происшедших при порче вентиляции. Поговорили о подлой силе «химии» – она ест подошвы сапог и металлические портсигары травит, поговорили о кашле с мокротой, который душит стариков, посмеялись над каким-то Панченко, работавшим без спецовки и сжегшим кислотой брюки галифе.

Потом заговорили о войне. С горечью, тревогой, волнением рабочие говорили о разорении врагом больших заводов, шахт, сахарной промышленности, железных дорог, донецкого паровозостроения.

Старик, вогнавший Кротову в краску, подошел к Александре Владимировне и сказал:

– Мамаша, может, вы завтра у нас работать будете, вам надо талончики в столовую взять.

– Спасибо, сынок, – ответила она, – завтра мы со своей едой приедем.

Она рассмеялась, назвав старика сынком, и он, поняв это, сказал:

– А что ж, я, может, месяц как женился.

Разговор вдруг стал такой дружеский, живой, хороший, словно в этом цехе она провела не несколько часов, а долгие дни жизни.

Когда кончился обеденный перерыв, рабочие подвели шланг, чтобы Кротовой не пришлось носить воду ведрами из дальнего конца цеха, помогли перенести аппаратуру и установить ее в тех местах, где подозревалась загазованность воздуха.

Несколько раз Александра Владимировна вспоминала слова Мещерякова и чувствовала, как кровь приливала к щекам, – ей хотелось пойти в контору и отчитать его, но она сдерживала себя.

«Раньше кончу работу, сделаю предложения, – думала она, – а потом уж намну ему бока, демагогу».

Многие директора и главные инженеры знали напористость и резкость Шапошниковой и закалялись отмахиваться от ее предложений по охране труда. Опытный глаз и обоняние у Александры Владимировны – она часто говорила, что нос – важнейший прибор химика, – сразу же определили неблагополучие санитарных условий. И действительно, индикаторные бумажки тотчас же меняли окраску, поглотительные растворы мутнели – видимо, в воздухе цеха содержалось много вредных примесей. Она почувствовала, как маслянистый, тяжелый воздух расслабляюще действовал на нее, раздражал ноздри, вызывал перхоту и кашель.

В обратный путь ехали уже с другой машиной; по дороге испортился мотор; водитель долго копался в нем, потом подошел к кабине, задумчиво, медленно обтирая руки ветошью, и объявил:

– Дальше не поедет, буду буксир из гаража вызывать, заклинил поршня.

– Девушка довезла, а мужчина не смог до города довезти, – сказала Кротова. – Я еще хотела в магазин поспеть сегодня.

– На попутной за десятку довезут, – посоветовал водитель.

– С аппаратурой что делать, вот вопрос, – задумалась Александра Владимировна и затем решительно проговорила: – Вот что, тут недалеко до Сталгрэса, я схожу и возьму у них машину, а вы, товарищ Кротова, постерегите аппаратуру.

– Не дадут вам со Сталгрэса машину, – сказал водитель, – там мне шоферы говорили: сам Спиридонов лично наряды подписывает, у него не выпросите, у жмота.

– У него как раз я и выпрошу, – сказала Александра Владимировна, – хотите, пари заключим.

Но водитель почему-то обиделся:

– Зачем мне ваше пари, подумаешь, – и, подмигнув, предложил Кротовой: – Оставайтесь, заночуем под брезентом, как на курорте, холодно не будет, а карточку завтра отоварим.

Шапошникова пошла по обочине шоссе. Вечернее солнце освещало дома и деревья, на подъеме ослепительно вспыхивали смотровые стекла пронесившихся к городу грузовиков, на восточных уклонах шоссе было холодным, синевато-пепельным, а там, где его освещало солнце, оно казалось голубоватым, все в светлых завитках пыли, поднятой проезжающими машинами. Она увидела высокие строения Сталгрэса. Здание конторы и многоэтажные жилые дома розовели в вечернем свете, пар и дым светились над цехами. Вдоль шоссе, мимо домиков, садов, огородов, к Сталгрэсу шли рабочие в спецовках, девушки в шароварах, одни в сапогах, другие в туфельках на каблучках, все с кошелками, сумками, – видимо, смена...

А вечер был тихий, ясный, и листва на деревьях светилась в лучах заходящего солнца.

И, как всегда при взгляде на тихую прелесть природы, Александра Владимировна вспомнила о сыне.

Сын Дмитрий мальчиком шестнадцати лет ушел воевать против Колчака, потом учился в Свердловском университете и, несмотря на молодые годы, стал управляющим одной из важных областей промышленности. В 1937 году его обвинили в связи с заговорщиками, врагами народа, и арестовали. Вскоре арестовали и его жену. Александра Владимировна поехала в Москву и привезла в Сталинград внука, двенадцатилетнего Сережу... Дважды после этого она

ездила в Москву хлопотать о Дмитрие. Бывшие друзья его, люди, которые в свое время зависели от него, отказали ей в приеме и не отвечали на письма.

Ей удалось добиться приема у очень высокопоставленного человека, хорошо помнившего ее покойного мужа. Он выхлопотал ей разрешение на свидание с сыном и обнадежил ее, что дело Дмитрия будет пересмотрено.

Единственный раз в жизни близкие видели Александру Владимировну плачущей – во время рассказа о свидании с сыном. Она долго ждала на пристани, катер должен был привезти сына. Увидя Дмитрия, она пошла ему навстречу, и они молча смотрели друг на друга, стояли, взявшись за руки, как дети, на берегу холодного моря. После она ходила по пустынному берегу, и волны с белой пеной накатывали на камни, и чайки кричали над ее белой головой... С осени 1939 года сын перестал отвечать на письма. Она писала запросы, снова ездила в Москву. Ей вновь обещали все выяснить, пересмотреть дело. Время шло, началась война.

Александра Владимировна шла торопливо, голова слегка кружилась. Она знала, что головокружение это не только от мелькавших машин и пятен света, оно от старости, от переутомления, оттого, что весь день она дышала тяжелым воздухом, от постоянного нервного напряжения: вот и ноги стали у нее отекать к вечеру, обувь становится тесной, – видимо, сердце не справлялось с нагрузкой.

Зять встретился ей в проходной, он шел, окруженный людьми, размахивая пачкой бумаг, казалось, он отмахивался этой пачкой от упорно наседавшего на него военного с интендантскими петлицами.

– Ничего не выйдет, – говорил Степан Федорович, – пожгу трансформаторы, оставлю город без света, если подключу вас. Ясно?

– Степан Федорович, – негромко окликнула его Александра Владимировна.

Спиридонов резко остановился, услышав знакомый голос, и удивленно развел руками.

– Дома случилось что-нибудь? – быстро спросил он и отвел Александру Владимировну в сторону.

– Нет, все здоровы. Толю вчера вечером проводили. – И она рассказала об аварии с машиной.

– Ох, и хозяин Мещеряков, ни одной машины в порядке у него нет, – с удовольствием сказал Степан Федорович, – сейчас мы это дело наладим. – Он поглядел на Александру Владимировну и шепотом проговорил: – Вы такая бледная, ах ты, ей-богу.

– Голова кружится.

– Ну конечно, с утра не ели, день на ногах провели – безобразия, – сердито выговаривал он. И Александра Владимировна заметила, что здесь, где он был хозяином, Степан Федорович, обычно робевший перед ней, говорит с новой для него снисходительно-заботливой интонацией.

– Я вас так не пушу, – сказал он и, прищурившись, на мгновение задумался. – Вот что, аппаратуру с лаборанткой мы сейчас отправим, а вы отдохнете у меня в кабинете. Через час мне ехать в обком, я вас прямо домой на легковой отвезу. И покушать обязательно нужно. – Она не успела ответить, как Степан Федорович крикнул: «Сотников, скажи завгару, пусть полуторку отправит на шоссе, километр отсюда в сторону Красноармейска, там грузовик застрял, возьмет там аппаратуру, женщину и свезет в город. Ясно? Быстро только. Ох, и Мещеряков, хозяин...» Он окликнул пожилую женщину, по-видимому уборщицу: «Ольга Петровна, проводите гражданку ко мне, скажите Анне Ивановне, пусть кабинет откроет, а я тут людей отпущу, минут через пятнадцать приду».

В кабинете Степана Федоровича Александра Владимировна села на стул и оглядела стены в больших листах синей кальки, диваны и кресла под крахмальными, несмятыми чехлами (видимо, на них никто не садился), запыленный графин на тарелке с желтыми пятнами, из которого, видимо, не часто пили воду, криво повешенную картину, изображавшую митинг при

пуске электростанции, – и на картину, должно быть, редко кто глядел. На письменном столе лежали бумаги, чертежи, куски кабеля, фарфоровый изолятор, горка угля на газете, набор чертежных карандашей, вольтметр, логарифмическая линейка, стояли телефоны со стертыми до белого металла цифрами на дисках, пепельница, полная окурков, – за столом этим работали день и ночь, без сна.

Александра Владимировна подумала, что, может быть, она первый человек, пришедший сюда отдохнуть, до нее в этом кабинете никто никогда в течение десяти лет не отдыхал, в нем только работали.

И правда, едва вошел Степан Федорович, как в дверь постучались, и молодой человек в синей тужурке, положив на стол длинную рапортничку, сказал:

– Это за ночную смену, – и вышел.

И тотчас вошел старик в круглых очках, с черными нарукавниками, передал Степану Федоровичу папку:

– Заявка от Тракторного, – и тоже вышел.

Позвонил телефон, Степан Федорович взял трубку.

– Как же, узнаю... сказал – не дам, значит, не дам. Почему? Потому что «Красный Октябрь» важнее, знаешь сам, что он выпускает. Ну? Дальше что? Ну, знаешь что... – Он, видимо, хотел выругаться, глаза у него стали узкие, злые, Александра Владимировна никогда не видела у него такого выражения. Быстро оглянувшись на тещу, он облизнул губы и проговорил в трубку: – Начальством ты меня не страдай, я сам у начальства буду сегодня. Меня просишь и на меня же пишешь... Сказал – не дам!

Вошла секретарша, женщина лет тридцати, с очень красивыми сердитыми глазами.

Она наклонилась к уху Степана Федоровича и негромко сказала что-то. Александра Владимировна разглядывала ее темные волосы, красивые темные брови, большую мужскую ладонь со следами чернил.

– Конечно, сюда пусть несет, – сказал Степан Федорович, и секретарша, подойдя к двери, позвала:

– Надя, сюда несите.

Стуча каблуками, девушка в белом халате внесла поднос, прикрытый полотенцем.

Степан Федорович открыл ящик письменного стола и вынул половину белого батона, завернутого в газету, пододвинул Александре Владимировне.

– Хотите, – сказал он и похлопал рукой по ящику, – могу угостить кое-чем покрепче, только Марусе не говорите, вы ведь знаете, съест, – и сразу стал похож на домашнего, обычного Степана.

Александра Владимировна пригубила водки и, улыбнувшись, сказала:

– Дамы у вас тут интересные, а девушка просто прелесть, и в ящике не одни чертежи. А я-то думала, вы здесь работаете круглосуточно...

– Изредка и работать приходится, – сказал он. – Ох, девицы, девицы. Ведь Вера, представляете, что задумала... Я вам расскажу, когда поедем.

«Как-то странно здесь звучат семейные разговоры», – подумала Александра Владимировна.

Степан Федорович посмотрел на часы.

– Вы меня немного подождите, через полчаса поедем, мне нужно на станцию пойти, а вы отдохните пока.

– Можно с вами пойти? Я ведь никогда не была здесь.

– Что вы, мне ведь на второй и на третий этаж, лучше отдохните, – но видно было, что он обрадовался. Ему хотелось показать ей станцию.

Они шли в сумерках по двору, и Степан Федорович объяснял:

– Вот масляные трансформаторы... котельная, градирни... здесь мы КП строим, подземное, на всякий случай, как говорится...

Он поглядел на небо и сказал:

– Жутковато, вдруг налетят... Ведь такое оборудование, такие турбины!

Они вошли в ярко освещенный зал, и то скрытое сверхнапряжение, которое ощущается на больших электрических станциях, коснулось их и незаметно нежно, но крепко оплело своим очарованием. Нигде – ни в доменных цехах, ни в мартенах, ни в горячем прокате – не возникает такого волнующего ощущения... В металлургии огромность совершаемой человеком работы выражается открыто и прямо: в жаре жидкого чугуна, в грохоте, в огромных, слепящих глаз глыбах металла... Здесь же все было иное – яркий, ровный свет электрических ламп, чисто подметенный пол, белый мрамор распределительных щитов, размеренные, неторопливые движения и внимательные спокойные глаза рабочих, неподвижность стальных и чугунных кожухов, мудрая кривизна турбин и штурвалов. В негромком, густом и низком жужжании, в едва заметной дрожи света, меди, стали, в теплом сдержанном ветре ощущалось не явное, прямое, как в металлургии, а тайное сверхнапряжение силы, бесшумная сверхскорость турбинных лопаток, тугая упругость пара, рождавшего энергию более высокую и благородную, чем простое тепло.

И как-то по-особенному волновало тусклое сверкание бесшумных динамо, обманывавших своей кажущейся неподвижностью.

Александра Владимировна вдохнула теплый ветерок, отделявшийся от маховика; маховик казался застывшим, так бесшумно и легко вращался он, но спицы его словно были затканы серенькой паутинкой, сливались, мерцали, и это выдавало напористость движения. Воздух был теплый, с едва заметной горьковатой примесью озона, с чесночинкой, так пахнет воздух в поле после грозы, и Александра Владимировна мысленно сравнила его с масляным воздухом химических заводов, с угарным жаром кузниц, с пыльным туманом мельниц, с сухой духотой фабрик и швейных мастерских...

И опять совершенно по-новому увидела она человека, которого, казалось, так хорошо и подробно узнала за долгие годы его супружества с Марусей.

Не только движения его, и улыбка, и выражение лица, и голос стали здесь иными, но и внутренне он был совершенно иным. Когда она слышала его разговоры с цеховыми инженерами и рабочими, наблюдала его лицо и их лица, она видела, что Степана Федоровича объединяет с ними нечто важное и большое, без чего ни он, ни они не могли бы существовать. Когда он шел по пролетам, говорил с монтерами и машинистами, склонялся над штурвалами и приборами, слушал, призадумавшись, звук моторов, в его лице было одно и то же выражение сосредоточенности и мягкой тревоги. То было выражение, породить которое могла лишь любовь, и казалось – в эти минуты ни для Степана Федоровича, ни для тех, что шли с ним и говорили с ним, не было обычных тревог и волнений, обыденных мыслей и домашних радостей и огорчений. Замедлив шаги, Степан Федорович сказал:

– Вот наша святая святых, – и они прошли к главному щиту.

На высоком мраморе – среди рубильников, реостатов, переключателей, среди жирной меди и полированной пластмассы – пестрели голубые и красные желуди сигнальных лампочек.

Неподалеку от щита рабочие устанавливали высокий, в полтора человеческих роста, толстенный стальной футляр с узкой смотровой щелью.

– В этой штуке при бомбежке будет стоять дежурный на главном щите, – сказал Спиридонов. – Надежная броня, как на линкоре.

– Человек в футляре, – проговорила Александра Владимировна. – Смысл совсем не чеховский у этих слов.

Степан Федорович подошел к щиту. Огни голубых и красных сигнальных лампочек падали на его лицо и пиджак.

– Включаю город! – сказал он и коснулся рукой массивной ручки. – Включаю «Баррикады»... включаю Тракторный... включаю Красноармейск...

Голос его дрогнул от волнения, лицо в странном пестром свете было взволнованным, счастливым... Рабочие молча и серьезно смотрели на него.

...В машине Степан Федорович наклонился к уху Александры Владимировны и шепотом, чтобы не слышал водитель, сказал:

– Вы помните уборщицу, которая вас провожала ко мне в кабинет?

– Ольга Петровна, кажется?

– Вот-вот, вдова она, Савельева ее фамилия. У нее на квартире жил парнишка, работал у меня в слесарной мастерской, потом пошел в летнюю школу, и оказывается, он тут лежит в госпитале, прислал ей письмо, что дочка Спиридонова, наша Вера, работает в этом госпитале, и будто все у них решено. Объяснились. Представляете, какое дело? И узнаю-то не от Веры, а от своего секретаря Анны Ивановны. А ей уборщица Савельева сказала... Представляете?

– Ну и что ж, – сказала Александра Владимировна. – Очень хорошо, лишь бы честный и хороший парень.

– Да не время, боже мой, да и девчонка... Вот станете прабабушкой, тогда не скажете: «Очень хорошо!»

Она плохо видела в полутьме его лицо, но голос его был обычный, долгие годы знакомый ей, и, вероятно, выражение лица было таким же обычным, знакомым.

– А насчет фляжки договорились, Марусе ни слова, ладно? – смеющимся шепотом сказал он.

Материнская, грустная нежность к Степану охватила ее.

– И вы, Степан, станете дедом, – тихо сказала Александра Владимировна и погладила его по плечу.

17

Степан Федорович заехал по делу в Тракторозаводский районный комитет партии и узнал неожиданную новость – давно знакомый ему Иван Павлович Пряхин был выдвинут на руководящую работу в обком партии.

Пряхин когда-то работал в партийной организации Тракторного завода, потом поехал на учебу в Москву, вернулся в Сталинград незадолго до начала войны, снова стал работать в райкоме, был одно время парторгом ЦК на Тракторном заводе.

Степан Федорович знал Пряхина давно, но встречался с ним мало и сам удивился, почему новость эта, не имевшая к нему прямого отношения, взволновала его.

Он зашел в комнату к Пряхину, который в этот момент надевал плащ, собираясь уходить, и громко сказал:

– Приветствую, товарищ Пряхин, поздравляю с переходом на работу в областной комитет.

Пряхин, большой, неторопливый, широколобый, медленно посмотрел на Степана Федоровича и проговорил:

– Что ж, товарищ Спиридонов, будем встречаться по-прежнему, наверно, чаще даже.

Они вместе вышли на улицу.

– Давайте подвезу, я сейчас через город еду к себе на Сталгрэс, – сказал Спиридонов.

– Нет, я пойду пешком, – сказал Пряхин.

– Пешком? – удивился Спиридонов. – Это вам часа три ходу.

Пряхин посмотрел на Спиридонова и усмехнулся, промолчал. Спиридонов посмотрел на Пряхина, усмехнулся и тоже промолчал. Он понял, что неразговорчивому, суровому человеку Пряхину захотелось вот в этот военный день пройти по улицам родного города, пройти мимо завода, который при нем строили, пройти мимо садов, которые при нем сажали, мимо школы, в строительстве которой он принимал участие, мимо новых домов, которые при нем заселялись.

Спиридонов стоял у дверей райкома, поджидая отлучившегося водителя машины, поглядывал вслед идущему по дороге Пряхину.

«Теперь он моим начальством в обкоме будет!» – подумал Спиридонов с усмешкой, но усмешка не получилась: он был растроган. Ему вспомнились встречи с Пряхиным. Вспомнилось, как открывали в заводском поселке школу-десятилетку для детей рабочих и служащих. Пряхин, озабоченный, сердитый, нарушающий своим сварливым голосом торжественность обстановки, выговаривал прорабу за то, что тот скверно отциклевал паркет в некоторых школьных комнатах. Вспомнилось, как когда-то, задолго еще до войны, во время пожара в жилом поселке, увидя сквозь сизый дым шагающего Пряхина, Спиридонов подумал с облегчением: «Ну вот, райком здесь, сразу на душе легче». Вспомнилось ему, как не спал он три ночи перед пуском нового цеха и как в самое неожиданное время появлялся в цехе Пряхин – и казалось, ни с кем он особенно не говорил, никого особенно не расспрашивал, а когда обращался к Степану Федоровичу, вопрос его был всегда именно тем вопросом, который особенно тревожил в эту минуту Спиридонова. И теперь, когда в грозные сталинградские дни послали Пряхина на работу в обком, Спиридонов ощутил такое же чувство, как во время пожара: «Ну вот, и райком здесь, на душе верней, спокойней».

Как-то по-новому увидел этого человека растроганный Степан Федорович и подумал: «Вот он какой, оказывается, Пряхин, душа у него болит, ведь вся жизнь тут вложена, все хочется посмотреть, ведь это и есть наша жизнь, и его и моя жизнь».

И видимо, Пряхин, прощаясь, понял и догадку и чувство Степана Федоровича, крепко пожал ему руку, словно молчаливо благодарил и за догадку эту и за сдержанность, за то, что

Спиридонов не стал объяснять: «Ага, волнение охватило, хочется вам посмотреть те места, где всю свою жизнь проработали».

Ведь бывает такая плохая манера у некоторых людей: без спросу залезть в чужую душу и громогласно объяснить все, что видно в чужой душе.

Приехав на Сталгрэс, Степан Федорович погрузился в каждодневные свои дела, но мысли, возникшие по поводу случайной встречи, не растворились в шумном потоке.

18

Вечером Женя замаскировала окна, соединяя платки, старые одеяла и кофты шпильками и булавками.

Воздух в комнате сразу сделался душным, лбы и виски сидевших за столом покрылись маленькими каплями пота, казалось, что желтая соль в солонке стала мокрой, вспотела от жары, но зато в комнате с замаскированными окнами не было видно томящее душу ночное, прифронтовое небо.

– Ну, товарищи девицы и дамы, – сказала, отдуваясь, Софья Осиповна, – что нового во славном во городе Сталинграде?

Но девицы и дамы не отвечали, так как были голодны и, дуя на пальцы, вынимали из кастрюли горячие картошки.

Только Степан Федорович, обедавший и ужинавший в литерной обкомовской столовой, не стал есть картошку.

– С будущей недели ночевать буду на работе, есть решение обкома, – сказал он. Степан Федорович покашлял и добавил неторопливо: – А Пряхин-то, знаете, в обкоме секретарем работает теперь.

Но никто не обратил внимания на эти слова. Мария Николаевна, ездившая днем на завод на общегородской субботник работников народного просвещения, стала рассказывать, какое приподнятое у рабочих настроение.

Мария Николаевна считалась самым ученым человеком в семье. Уже девочкой-школьницей она удивляла всех своей работоспособностью, умением заполнять день работой. Она одновременно закончила два вуза – педагогический и заочный философский факультет. До войны областное книгоиздательство напечатало написанную ею брошюру «Женщина и социалистическое хозяйство». Степан Федорович переплел один экземпляр в желтую кожу с вытисненным серебром заглавием, и эта книга, предмет семейной гордости, всегда лежала на его столе. Слово жены было для него решающим в спорах о людях, в оценках знакомых и друзей.

– Переступишь порог цеха – и сразу же забываешь о всех тревогах и сомнениях, – сказала Мария Николаевна, беря картошку, но, взволновавшись, вновь положила ее. – Нет, невозможно нас победить, такой мы самоотверженный, такой трудолюбивый народ. Вот только в цехах этих по-настоящему поймешь, как народ борется с врагом. Нужно всем нам оставить свои дела и переключиться, пойти работать на оборонные заводы, в колхозы. А Толя-то наш уехал!

– Пожилым теперь лучше, теперь молодежь переживает, – сказала Вера.

– Не молодежь, а молодёжь, – поправила Мария Николаевна.

Она всегда поправляла ударения в речи Веры.

– Ох и запылится твой жакет, надо его почистить, – сказал Степан Федорович.

– Это заводская, святая пыль, – проговорила Мария Николаевна.

– Да ты, Маруся, ешь, – сказал Степан Федорович, тревожась, чтобы жена, любившая возвышенные разговоры, не увлеклась и не пренебрегла своей долей жареной осетрины, принесенной им из столовой.

Александра Владимировна сказала:

– Все это так, но бедный Толя, как он волновался!

– Что же делать – война, – сказала Мария Николаевна, – родина требует великих жертв. Евгения Николаевна, прищурившись, поглядела на старшую сестру.

– Ох, ох, дорогая моя, все это хорошо, когда однажды поработаешь на субботнике, а вот каждый день по утрам в зимнем мраке пробираться под страхом бомбежки к заводу, а затем в том же мраке после дня работы бежать домой... Добавь к этому, кстати, брынзу и камсу.

– Почему ты так авторитетно рассуждаешь, словно сама двадцать лет на заводе работаешь? А главное, ты органически не можешь понять, что работа в огромном коллективе – источник постоянной моральной зарядки. Рабочие шутят, уверенно настроены, а когда из цеха, вы бы все посмотрели, выкатили оружие и командир пожал старому мастеру руку и тот его обнял и сказал: «Дай тебе бог живым вернуться с войны», – такой подъем меня охватил патристический, что я не шесть, а, кажется, сто шесть часов проработала бы.

– О господи, – сказала Женя со вздохом, – да разве я собираюсь спорить с тобой по существу; все, что ты говоришь, верно, благородно, и я всей душой понимаю это. Но ты о людях говоришь, словно их не бабы рожали, а редактора газет. Есть там на заводе все это, знаю, но зачем говорить таким тоном. И невольно кажется выдумкой... Все люди у тебя как на плакате, а мне вот не хочется рисовать плакаты.

Маруся прервала ее:

– Нет, нет, тебе именно и следует рисовать плакаты, а не заниматься таинственной живописью, которую никто не понимает. Пей, Женя, чай, пока он пылкий.

Женя рассердилась:

– Не говори «чай пылкий», я это уж где-то читала. Горячий, а не пылкий!

Ее раздражала Марусина манера употреблять в разговоре народные слова: «по грибочки», «прошла задами», «подмочь» и вместе с ними слова вроде: «сенсительный», «абсентизм», «комплекс неполноценности».

– Да-а, – протяжно сказала Вера, – сегодня привезли раненых, они рассказывали жуткие дела. Драп идет полным ходом.

– Вера, не повторяй слухов! Нет, я не такой была в твои годы, – сказала высоким от волнения голосом Мария Николаевна.

– А ну тебя, мама! Раненые ведь рассказывают! Я-то тут при чем? И при чем тут мои годы? – проговорила Вера.

Мария Николаевна посмотрела на дочь и ничего не ответила.

В последнее время споры с Марией Николаевной происходили все чаще, обычно их начинал Сережа, иногда Вера принималась ей возражать, говорила: «Ах, мама, ты не знаешь, а споришь!» Это было непривычно Марии Николаевне, волновало и огорчало ее.

В это время в комнату поспешно вошел Сережа.

– Наконец, а я-то волнуюсь ужасно, – радостно сказала Александра Владимировна. – Где ты был?

– Бабуля, готовьте мне вещевой мешок, я послезавтра уйду с рабочим батальоном на рытье окопов! – громко, задыхаясь, объявил Сережа, вынул из ученического билета бумажку и положил ее на стол, подобно игроку, выбрасывающему перед опешившими партнерами козырного туза.

Степан Федорович развернул бумажку и, как человек опытный и знающий «бумажное дело», внимательно, начав от штампа с номером и числом, стал рассматривать ее.

Сережа, снисходительно улыбаясь, уверенный в полновесной ценности документа, сверху вниз глядел на сощуренные глаза и наморщенный лоб Степана Федоровича.

Маруся и Женя в это время забыли о ссоре и понимающе переглянулись, тайком наблюдая за матерью.

Сережа был главной привязанностью Александры Владимировны: его глаза, тревожный, по-взрослому сильный и по-детски непосредственный прямой ум, его застенчивость, соединенную со страстностью, детскую доверчивость, соединенную со скептицизмом, доброту и вспыльчивость – все это боготворила в нем Александра Владимировна. Как-то она сказала Софье Осиповне: «Знаешь, Соня, вот мы подошли к старости, покидаем жизнь, не мирный сад, а жизнь в огне, война бушует, но я, старуха, по-прежнему так же верю в силу революции, верю

в победу над фашизмом, верю в силу тех, кто держит знамя народного счастья и свободы. И мне кажется, что Сережа из этой породы. Вот за это я как-то особенно люблю его».

Но дело в том, что любовь Александры Владимировны к внуку была прежде всего безотчетной, нерассуждающей, а следовательно, и настоящей любовью.

Эту любовь знали все близкие ее, она трогала их, но и сердила; она вызывала бережное и в то же время ревнивое чувство, как это часто бывает в больших семьях. Иногда дочери говорили с тревогой: «Если с Сережей что-нибудь приключится, мама не переживет».

Иногда говорили с сердцем: «О господи, нельзя все-таки так дрожать над этим мальчишкой!»

Порой осуждали с насмешкой: «Когда мама старается быть одинаковой и к Людмилиному Толе и к Сереже, у нее ничего не получается».

Степан Федорович передал бумажку Сереже и небрежно сказал:

– Филимонов подписал, ничего, я завтра поговорю с Петровым, и мы тебя устроим на Сталгрэс.

– Зачем? – спросил Сережа. – Я ведь сам пошел, меня не брали, нам сказали, что дадут не только лопаты, но и винтовки и переведут здоровых в строй.

– Так ты что это, сам, что ли, записался? – спросил Степан Федорович.

– Ну конечно.

– Да ты с ума сошел, – сердито сказала Мария Николаевна. – Да ты подумал о бабушке, да ты знаешь, что она не переживет, если, не дай бог, случится что-нибудь с тобой?

– Ведь у тебя паспорта еще нет. Да вы видели дурака? – сказала Софья Осиповна.

– А Толя?

– Ну и что Толя? Толя на три года старше тебя. Толя взрослый человек. Толя призван исполнять свой гражданский долг. Вот и Вера: да разве я ей слово сказала? Придет время, кончишь десятый класс, тебя призовут, никто слова тебе не скажет. Я поражаюсь, как записали его. Надрали бы уши...

– Там был один меньше меня ростом, – перебил Сережа. Степан Федорович подмигнул Жене.

– Видали мужчину?

– Мама, а ты что молчишь? – спросила Женья. Сережа посмотрел на Александру Владимировну и негромко окликнул ее:

– А, бабка?

Он один говорил с ней насмешливо и просто и часто с какой-то смешной, трогательной снисходительностью спорил с ней. Даже старшая его тетка Людмила редко спорила с Александрой Владимировной, несмотря на властность характера и искреннюю уверенность в своей всегдашней правоте во всех семейных делах.

Александра Владимировна быстро вскинула голову, точно за столом сидели ее судьи, и произнесла:

– Делай, Сережа, так, как ты... я... – Она запнулась, поднялась быстро из-за стола и пошла из комнаты.

На мгновение стало тихо, и растроганная Вера, чье сердце в этот день открылось для доброго сочувствия, сердито нахмурилась, чтобы сдержать слезы.

19

Ночью улицы города наполнились шумом. Слышались гудки, пыхтение автомобильных моторов, громкие окрики.

Шум этот был не только велик, но и тревожен. Все проснулись, лежали молча, прислушиваясь и стараясь понять, что происходит.

Вопрос, волновавший сердца разбуженных ночным шумом людей, был в ту грозную пору один: не прорвались ли где-нибудь немцы, не ухудшилось ли внезапно положение, не уходят ли наши и не пришло ли время среди ночи одеться, торопливо схватить узел с вещами и уйти из дому? А иногда леденящая тревога сжимала сердце: «А что, собственно, за шум, что за невнятные голоса, а вдруг воздушный десант?»

Женя, спавшая в одной комнате с матерью, Софьей Осиповной и Верой, приподнялась на локте и негромко сказала:

– Вот так в Ельце с нашей бригадой художников было: проснулись – а на окраине немцы! И никто нас не предупредил.

– Мрачная ассоциация, – сказала Софья Осиповна. Они слышали, как Маруся, оставившая дверь открытой, чтобы в случае бомбежки легче было всех разбудить, сказала:

– Степан, что за скифское спокойствие, ты спишь, ведь надо узнать!

– Да не сплю я, тише, слушай! – шепотом сказал Степан Федорович.

Под самым окном зарокотала машина, потом вдруг мотор заглох, и чей-то голос, столь явственно слышный, точно он раздавался в комнате, произнес:

– Заводи, заснул, что ли! – и добавил несколько слов, которые заставили женщин на мгновение потупить, но не оставили никаких сомнений в том, что произносил эти слова раздосадованный русский человек.

– Звук благодатный, – сказала Софья Осиповна.

И все вдруг облегченно заговорили.

– Это все Женя со своим Ельцом, – слабым голосом сказала Маруся. – У меня и сейчас еще боль в сердце и под лопаткой...

Степан Федорович, смущенный тем, как он только что взволнованно шептался с женой, многословно и громко стал объяснять:

– Да откуда? Нелепо же, ерунда ведь! От Калача до нас сплошная железобетонная оборона. Да и в случае чего мне бы немедленно позвонили. Что ж вы думали, так это делается? Ой, бабы вы, бабы, одно слово – бабы!

– Да, конечно, хорошо, и все пустяки, но я подумала: вот так именно это бывает, – тихо сказала Александра Владимировна.

– Да, мамочка, именно так, – отозвалась Женя.

Степан Федорович накинул на плечи плащ и, пройдя по комнате, сдернул маскировку и распахнул окно.

– Открывается первая рама, и в комнату шум ворвался, – сказала Софья Осиповна и, прислушавшись к пестрому гулу машин и голосов, заключила: – И благовест ближнего храма, и голос народа, и шум колеса.

– Не шум колеса, а стук колеса, – поправила Мария Николаевна.

– Нехай будет стук, – сказала Софья Осиповна и всех рассмешила этими словами.

– Много легковых, «эмки», есть «ЗИСы-101», – говорил Степан Федорович, вглядываясь в улицу, освещенную неясным светом луны.

– Наверно, подкрепления на фронт идут, – сказала Мария Николаевна.

– Нет, пожалуй, наоборот, не похоже, что к фронту, – ответил Степан Федорович. Он вдруг предостерегающе поднял палец и сказал: – А ну тише!

На углу стоял регулировщик, и к нему то и дело обращались проезжавшие. Говорили они негромко, и слов разобрать было нельзя. На все вопросы регулировщик отвечал взмахом флажка, указывая маршрут легковым машинам и грузовикам, на которых громоздились столы, ящики, табуретки и складные кровати. На грузовиках сонно покачивались в такт движению закутанные в шинели и плащ-палатки люди. Возле регулировщика остановился «ЗИС-101», и разговор вдруг стал явственно слышен Степану Федоровичу.

– Где комендант? – спросил густой медленный голос.

– Вам коменданта города?

– На что мне твоего коменданта города, мне нужно знать, где разместился комендант штаба фронта?

Степан Федорович не стал дольше слушать. Он прикрыл окно и, выйдя на середину комнаты, объявил:

– Ну, товарищи, Сталинград стал фронтовым городом, к нам пришел штаб Юго-Западного фронта.

– От войны нельзя уйти, она идет за нами, – сказала Софья Осиповна. – Давайте спать! В шесть утра я должна быть в госпитале.

Но едва она сказала эти слова, как послышался звонок.

– Я открою, – сказал Степан Федорович и, надев свой коверкотовый плащ, пошел к двери. Плащ этот ночью обычно лежал на спинке кровати, чтобы находиться под рукой на случай бомбежки. На спинке кровати лежал также новый костюм Спиридонова, а возле шкафа стоял в боевой готовности чемодан с Марусиной шубой и платьями.

Вскоре Степан Федорович вернулся и смеющимся шепотом сказал:

– Женя, вас там кавалер спрашивает, красавец мужчина, я его пока в передней оставил.

– Меня? – удивилась Евгения Николаевна. – Не понимаю, какая чепуха! – Но по всему чувствовалось, что она взволнована и смущена.

– Джахши, – весело сказала Вера. – Вот вам и тетя Женя.

– Выйдите, Степан, я оденусь, – быстро сказала Евгения Николаевна и легко, по-девичьи вскочила, задернула маскировку и зажгла свет.

Надеть платье и туфли заняло несколько секунд, но движения ее сразу же стали медленными, когда она, прищурив глаза, подкрашивала карандашиком губы.

– Да ты с ума сошла, – сердито сказала ей Александра Владимировна. – Красишься среди ночи, ведь человек ждет.

– Да притом еще немытое, заспанное лицо и спутанные, как у ведьмы, волосы, – добавила Мария Николаевна.

– Вы не беспокойтесь, – сказала Софья Осиповна. – Женечка отлично знает, что она ведьма молодая и красивая.

Ей, седой и толстой пятидесятивосьмилетней девушке, может быть, ни разу в жизни не приходилось вот так, сдерживая сердцебиение, прихорашиваться, готовясь к неожиданной встрече.

Эта мужеподобная женщина, обладавшая воловьей работоспособностью, объездившая полсвета с географическими экспедициями, любившая в разговоре грубое слово, читавшая математиков, поэтов и философов, казалось, должна была к красивой Жене относиться с неодобрительной насмешкой, а не с нежным восхищением и смешной, трогательной завистью.

Женя все с тем же недоумевающим, сердитым выражением лица пошла к двери.

– Не узнаете? – спросили из-за двери.

– И да, и нет, – ответила Женя.

– Новиков, – назвался пришелец.

Идя к двери, она была почти уверена, что именно он и пришел, но ответила так потому, что не знала, нужно ли ей сердиться на бесцеремонность ночного вторжения.

И вдруг, точно со стороны, она увидела всю поэзию этой ночной встречи – увидела себя, сонную, только что покинувшую тепло домашней, материнской постели, и стоящего у двери человека, пришедшего из грозной военной тьмы, несущего с собой запах пыли, степной свежести, бензина, кожи.

– Простите меня, глупо являться среди ночи, – сказал он и склонил голову.

Она сказала:

– Вот теперь я вас узнала, товарищ Новиков. Очень рада.

Он проговорил:

– Война привела. Вы извините, лучше я днем зайду.

– Куда же вы сейчас пойдете, среди ночи? Оставайтесь у нас.

Он отнекивался. Кончилось тем, что она стала сердиться не на то, что Новиков вторгся ночью в дом, а на то, что он не хочет в нем остаться. Тогда Новиков, обращаясь в тьму лестничной клетки, сказал негромко, тоном человека, привыкшего приказывать и знающего, что приказ его всегда услышат:

– Кореньков, принесите мой чемодан и постель.

Женя сказала:

– Рада вас видеть живым и здоровым. Но я расспрашивать вас сейчас ни о чем не буду: вы устали, вам надо помыться, попить чаю, поесть. А утром поговорим подробно, расскажете мне о себе. Познакомлю вас с мамой, сестрой, племянницей.

Она вдруг взяла его за руку и, разглядывая его лицо, произнесла:

– А вы очень изменились, прежде всего брови посветлели.

– Это от пыли, – сказал он. – Очень пыльная дорога.

– От пыли и от солнца. И глаза от этого кажутся темней.

Женя почувствовала, как большая рука его, которую она держала, чуть-чуть дрогнула в ее руке, и, рассмеявшись, сказала:

– Ну вот, пока поручу вас нашим мужчинам, а завтра будете введены в женский мир.

Гостю устроили постель в комнате Сережи.

Сережа провел его в ванную, и Новиков спросил:

– О, неужели и душ действует?

– Пока действует, – ответил Сережа, следя, как гость снимает португую, револьвер, гимнастерку с четырьмя малиновыми «шпалами», выкладывает из чемоданчика бритвенный прибор и мыльницу.

Высокий, плечистый, он казался человеком, рожденным для ношения военной формы и оружия.

Сережа казался себе таким слабым и маленьким рядом с этим суровым сыном войны. А ведь завтра и он станет ее сыном.

– Вы брат Евгении Николаевны? – спросил Новиков.

Сереже казалось неловким называться Жениным племянником, она слишком молода, чтобы быть теткой взрослого парня, поступившего добровольцем в рабочий батальон. Новиков подумает: либо Женя пожилая, либо племянник совершенный молокосос.

– Вытирайтесь мохнатой простыней, – сказал Сережа, точно не расслышал вопроса.

Ему не понравилось, как Новиков разговаривал с водителем машины, сутулым красноармейцем лет сорока.

Сережа, кипятивший на керосинке чай, сказал:

– Товарищу шоферу мы постелим здесь постель.

Новиков возразил:

– Нет, он будет спать в машине, ее нельзя оставлять без охраны.

Красноармеец усмехнулся:

– До Волги доехали, товарищ полковник, по воде машину не уведут.

Но Новиков сказал:

– Идите, Кореньков.

Чай Новиков пил в Сережиной комнате. Степан Федорович, почесывая грудь и позевывая, сел напротив него и тоже стал пить чай; его взволновал ночной приход штаба.

Из-за двери послышался голос Жени:

– Ну как там у вас, все в порядке?

Новиков поспешно поднялся и стоя, точно разговаривал с высоким начальником, ответил:

– Благодарю вас, Евгения Николаевна, и еще раз простите. – Когда он говорил с Женей, глаза его приняли виноватое выражение, и это не шло к его властному лицу с широким лбом, прямым носом и плотно складывающимися губами.

– Ну, до завтра, спокойной ночи, – сказала Женя, и Сережа заметил, что Новиков слушал стук удалявшихся каблучков.

Степан Федорович, прихлебывая чай, угощал гостя и оглядывал его глазами человека, смыслящего в деле подбора кадров. Он прикидывал в уме, какая гражданская работа подошла бы Новикову. Такого в промкооперации, пожалуй, не встретишь. Ему бы подошло быть начальником какого-нибудь крупного строительства союзного значения.

– Значит, штаб фронта теперь в Сталинграде будет? – спросил Степан Федорович.

Новиков искоса посмотрел на него, и Степан Федорович заметил в глазах гостя неудовольствие.

– Э, военная тайна, – немного обиженно сказал Спиридонов и, не удержавшись, прихвостнул: – Мне такие вещи по должности известны: снабжаю энергией три завода-гиганта, а они снабжают фронты.

Но, как и всегда, хвастовство в основе своей имело слабость и неуверенность: военный смутил его своим спокойным, холодным взглядом. Видимо, полковник подумал так: «Если и сообщены тебе такие сведения, то вовсе не следует без нужды повторять их, да еще в присутствии этого паренька, он-то никого не снабжает энергией».

Степан Федорович рассмеялся.

– Знаете, по правде говоря, как это мне было объявлено?

И он рассказал о разговоре зисовского пассажира с регулировщиком.

Новиков пожал плечами.

Сережа неожиданно спросил:

– А вы нашу Женю и до войны встречали?

Новиков торопливо ответил:

– Да, в общем, да.

Степан Федорович подмигнул:

– Военная тайна. – И подумал: «Э, полковник!»

Новиков, разглядывая висевшую на стене картину, изображавшую старика в зеленых штанах и с зеленой бородкой, спросил:

– Что ж, это старичок от старости позеленел?

Сережа ответил:

– Это Женя рисовала, она считает старого странника одной из лучших своих работ.

Степан Федорович решил, что у Евгении Николаевны с полковником давнишний роман, а все эти церемонии, вскакивания и обращения на «вы» – чистая декорация. И это почему-то сердило его: «Уж больно она хороша для тебя, солдат», – думал он.

Новиков помолчал и негромко сказал:

– Знаете, странный у вас город. Разыскивал долго ночью вашу улицу, и оказалось, улицы названы по всем городам Советского Союза – и Севастопольская, и Курская, и Винницкая, и Черниговская, и Слуцкая, и Тульская, и Киевская, и Харьковская, и Московская, и Ржевская

есть... – Он усмехнулся. – А я под многими городами этими в боях участвовал, в некоторых до войны служил. Да. И все они, выходит, здесь оказались...

Сережа слушал – казалось, другой человек, не чужой, непонятный, вызвавший чувство недоброжелательства, сидит перед ним. И он подумал: «Нет, нет, я правильно решил – иду!»

– Да, улицы, эх, да улицы, советские наши города, – тяжело вздохнул Степан Федорович. – Ложитесь-ка спать, вы с дороги.

20

Новиков был родом из Донбасса. Из всей семьи к началу войны в живых остался лишь старший брат Новикова – Иван, работавший на Смоляниновском руднике, недалеко от Сталино. Отец Новикова погиб во время пожара в подземной выработке, мать вскоре после этого умерла от воспаления легких.

Иван редко переписывался с братом – за время войны Новиков получил от него лишь два письма. Последнее письмо брат прислал в феврале на Юго-Западный фронт с далекого рудника, куда попал в эвакуацию вместе с женой и дочерью. Иван жаловался на тяжесть жизни в эвакуации. Новиков послал ему из Воронежа денег и продовольственную посылку, но ответа от Ивана не было, и Новиков не знал, получил ли он посланное, переменял ли снова адрес.

Последний раз виделись они перед войной. Новиков в 1940 году приехал погостить на неделю к брату. Странно было ему ходить по тем местам, где когда-то он жил мальчишкой. Но, видно, так сильна в человеке любовь к своей родной земле, к своей детской поре, поре материнской ласки, что угрюмый и суровый рудничный поселок казался ему милым, уютным, красивым и он не замечал ни колючего ветра, ни тошного едкого дыма, идущего от коксобензольного завода, ни мрачных, похожих на могильные курганы, терриконов... И лицо Ивана, с ресницами, подчеркнутыми угольной пылью, и лица приятелей детской поры, пришедших выпить с ним водки, были ему такими родными, близкими, что он сам удивился, как это он столько лет прожил вдали от родного поселка.

Новиков был из тех людей, которые не знают в жизни легких успехов и побед.

Он полагал, что это происходит от неумения легко завязывать дружбу, от тяжеловесной прямооты характера. Но он считал себя человеком отзывчивым, добродушным и доброжелательным, как раз не таким, каким представлялся людям.

И хотя обычно люди думают о себе не то, что они представляют собой на самом деле, но в этой оценке своих свойств Новиков был отчасти прав. Он казался людям более хмурым и сухим, чем был в действительности.

Таким казался он товарищам, когда, погнав голубей, стал учиться в городском училище; таким казался он, когда поступил на работу в слесарную мастерскую, когда пошел служить в Красную Армию, – так было на протяжении всей его жизни.

Он любил охоту, рыбную ловлю. Ему хотелось растить фруктовые деревья, ему нравились красиво обставленные комнаты, но в жизни его было столько работы и кочевий, что он никогда не охотился, не занимался садоводством и ловлей рыбы и не жил в уютных, по-домашнему обставленных комнатах с картинами и коврами. А людям казалось, что он ничем этим не интересуется и думает только о работе, – и действительно, работал он много.

Он рано, двадцати трех лет, женился и рано овдовел.

На войне ему выпало немало тяжелого, и хотя все время он служил в больших штабах, удаленных от передовой, он попадал то под жестокие бомбежки, то в окружения, а однажды ему пришлось вести в атаку сводный отряд, состоявший из командиров штаба армии, – это было в районе Мозыря в августе 1941 года.

Служебное продвижение Новикова шло хорошо, но блестящим его назвать было нельзя. За год войны он получил четвертую, полковничью «шпалу», был награжден орденом Красной Звезды.

Его считали превосходным штабным работником: образованным, с широким кругозором, со спокойным, сильным и методическим мышлением, человеком, способным легко и быстро проанализировать сложную и запутанную обстановку.

Но сам он полагал, что штабная работа для него дело временное. Ему казалось, что все свойства его характера и душевного склада отвечают другому. Он считал себя боевым коман-

диром, прирожденным танкистом, чьи способности полностью проявятся в прямой схватке с врагом, натурой, склонной не только к логике и анализу, но и к быстрым волевым ударам, к решениям, в которых аналитические способности и точная разработка деталей дружат со страстью и риском.

Его считали человеком рассудочным и даже холодным, а он чувствовал в себе совсем иную силу. Правда, он понимал, что люди не виноваты, расходясь с Новиковым в оценке Новикова. В спорах он был спокоен и сдержан, в быту отличался большой аккуратностью, бывал недоволен, когда хоть немного нарушался заведенный им порядок, и соблюдал этот порядок. Во время бомбежки он мог сделать картографу замечание, почему плохо отточен карандаш, либо сказать машинистке: «Я ведь просил вас не печатать на машинке, которая плохо выбивает букву «т».

Чувство к Шапошниковой стало странной нелогичностью его жизни. В тот вечер, когда он познакомился с ней на концерте в Военной академии, он был необычайно взбудоражен и взволнован этим случайным знакомством. Он ревновал ее, узнав, что она замужем. Он радовался, узнав, что она рассталась с мужем. Увидев ее случайно в окне вагона, он сел в ее поезд и ехал три с половиной часа на юг, когда ему нужно было ехать на север, но так и не сказал того, ради чего решил сесть в поезд.

В первый час войны он думал о ней, хотя ему, в сущности, нечего было помнить, как нечего было забывать.

Лишь теперь, в комнате, где ему была приготовлена постель, Новиков удивился тому, что произошло. Ночью, не имея на то никакого права, он пришел к Евгении Николаевне, всполошил всех ее родных. Возможно, он поставил ее в неловкое положение, нет, наверное, даже в глупейшее и ложное положение. Как она объяснит все это матери, родным? Но вот она объяснила им, сердясь, пожимая плечами, и тогда все они начинают смеяться над ним: «Что за нелепый человек – в два часа ночи стал ломиться в дверь... Чего он хочет? Пьян он, что ли? Ворвался, стал бриться, попил чаю и завалился спать». Ему почудились за стеной насмешливые голоса. «Ох-ох-ох», – проговорил он. Нужно оставить на столе записку, извиниться и тихо выйти на улицу, разбудить водителя: «Заводи, заводи...»

И едва он решил это, как совершенно внезапная мысль осветила все по-новому. Она улыбалась ему, она своими милыми руками устроила ему постель, утром он вновь увидит ее. И, наверное, приди он сюда через день-два, она сказала бы: «Ах, как жалко, что вы сразу не заехали к нам, а теперь комната уже занята». Но что он предложит ей и вправе ли он даже мечтать о личном счастье в такое время? Нет, не вправе! Он знал это, конечно, знал, а где-то в глубине жило другое знание, более мудрое, утверждавшее, что все волнения его сердца законны, имеют оправдание и смысл.

Он вынул из портфеля тетрадь в клеенчатой обложке и, сидя на постели, стал перелистывать ее. Усталость, соединенная с непроходившим волнением, не звала сон, а гнала сон.

Новиков глядел на полустертую карандашную запись: «22 июня 1941 года. Ночь. Шоссе. Брест – Кобрин».

Он посмотрел на часы – было четыре часа утра. Те ставшие привычными волнения и боль души, с которыми он свыкся в этот год и при которых продолжал есть, спать, бриться, дышать, как-то странно соединились с радостным волнением, заставившим сегодня быстро биться его сердце. Нелепой казалась ему мысль о сне, когда он вошел в эту комнату, такой же нелепой она казалась на рассвете 22 июня в прошлом году.

Он стал вспоминать свой разговор со Степаном Федоровичем и Сережей. Оба они ему не понравились, особенно Спиридонов. Он вновь представил себе тот миг, когда позвонил у двери, стоял в передней и вдруг услышал быстрые, легкие, милые шаги.

И все же он заснул.

21

Всегда с немеркнувшей ясностью вспоминалась Новикову первая ночь войны – она застала его на Буге во время поездки с инспекторскими поручениями штаба округа. Попутно он собирал данные у командиров частей, участвовавших в финской войне: ему хотелось написать работу о прорыве линии Маннергейма.

Спокойно поглядывал он на западный берег Буга, на плешины песка, на луга, на сады и домики, на темневшие вдали сосны и лиственные рощи; он слушал, как немецкие самолеты, словно сонные мухи, ноют в безоблачном небе немецкого губернаторства.

Когда он видел за Бугом на горизонте дымки, он говорил: «Немцы кашу варят», словно ничего, кроме каши, немцы не могли сварить. Он читал газеты, обсуждал военные события в Европе, и ему казалось, что ураган, бушевавший в Норвегии, Бельгии, Голландии и Франции, уходит все дальше и дальше, перекочевывает из Белграда в Афины, из Афин на остров Крит, с Крита уйдет в Африку и где-то там, в африканских песках, заглохнет. Но все же душой он и тогда уже понимал, что эта тишина – не просто тишина мирного летнего дня, а ужасная, томящая, душная тишина перед назревшей бурей. И в своей памяти Новиков нащупывал острые, неизгладимые воспоминания, ставшие постоянными спутниками его лишь оттого, что пришел день 22 июня, день войны, день, оборвавший мирную пору. Так об ушедшем из жизни человеке близкие его вспоминают все подробности: и мелькнувшую улыбку, и случайное движение, и вздох, и слово – и все это кажется не случайным, не мелочью, а глубоким и полным значения признаком надвигавшейся беды.

Как-то за неделю до начала войны Новиков переходил широкую, мощенную булыжником улицу Бреста; ему встретился немецкий военный, очевидно сотрудник комиссии по репатриации. Новиков вспомнил его нарядную фуражку с окованным металлом козырьком, и эсэсовский мундир цвета стали, и перевязь на руке с черным знаком свастики в белом круге, и худое, надменное лицо, и портфель светло-кремовой кожи, и черное зеркало сапог, на которое не решалась садиться уличная пыль. Он шел странной походкой, печатая шаг, мимо одноэтажных домиков.

Новиков, перейдя улицу, подошел к киоску с сельтерской водой, и, пока пожилая еврейка наливала ему стакан фруктового напитка, он подумал и много раз потом вспоминал эту мысль: «Шут!» И тотчас себя поправил: «Сумасшедший!» И вновь себя исправил: «Бандит!»

И он помнил – в эту минуту у него появилось томящее чувство злобы и раздражения.

Новиков помнил, что крестьянин, проезжавший в это время по улице, и женщина, поившая его водой, оба с каким-то одинаковым напряженным выражением следили за нацистским военным чиновником. Может быть, они уже предчувствовали, что вещал этот одинокий вестник зла среди широкой пыльной улицы пограничного советского города.

За три дня до начала войны Новиков обедал с начальником одной погранзаставы. Было необычайно жарко, и марлевые занавески на открытых окнах не шевелились. И вдруг в тишине из-за реки раздался утробный низкий орудийный выстрел, и начальник погранзаставы сердито сказал:

– Соседушка заклятый голос пробует!

Потом, уже в Воронеже, весной 1942 года, Новиков случайно узнал, что спустя пять дней после их совместного обеда этот начальник заставы задержал немцев на шестнадцать часов силой одного лишь пулеметного огня и погиб вместе с женой и двенадцатилетним сыном.

Немцы после вторжения в Грецию проводили воздушно-десантные операции на Крите. Вспоминался ему доклад об этом, слышанный им в штабе. Во многих вопросах после доклада чувствовалась тревога: «Расскажите подробнее о потерях германской армии», «Скажите, заметно ли ослабление германской армии?». Одна записка спрашивала прямо: «Товарищ

докладчик, успеем ли мы получить от немцев оборудование, если в ближайшее время нарушится торговый договор?»

Он помнил, как ночью после этого доклада сердце его на миг сжалось и ему подумалось: если Россия избегнет военной грозы – это будет чудо, да ведь чудес не бывает!

Последняя ночь мира, первая ночь войны!

В эту ночь Новикову нужно было встретиться с командиром бригады тяжелых танков. Новиков находился в танковом полку, дежурный никак не мог соединить его со штабом бригады: связи не было.

Они вдвоем ругали бестолковость телефонистов, недоумевали – обычно телефоны работали отлично.

Новиков поехал на полевой аэродром: у летчиков имелась связь с высшим штабом, и он решил воспользоваться их проводом. Но и у летчиков ни прямой, ни окольной связи не было – произошел множественный порыв на линии. Эти непонятные порывы проводов в тихий летний вечер стали понятны лишь через несколько часов: немцы уже вели войну...

Командир истребительного полка пригласил Новикова в городской театр посмотреть постановку «Платон Кречет». Ехали летчики с женами, некоторые с гостившими отцами и матерями, в автобусе имелись свободные места. Но Новиков отказался, он решил поехать в бригаду.

Ночь была лунная, теплая, пустынное шоссе казалось белым среди темных приземистых лип. Когда Новиков сел в машину, из ярко освещенного, широко открытого окна раздался голос дежурного:

– Товарищ подполковник, связь есть!

Слышно было плохо, но Новикову удалось поговорить – командир бригады уехал на техническую базу, куда ушли танки для осмотра и смены моторов, и вернется лишь на следующий день вечером. Новиков решил ночевать у летчиков. Он попросил устроить ему ночлег, и дежурный улыбнулся: «Места хватит!» – штаб стоял в большом помещичьем доме.

Дежурный провел его в огромную комнату, освещенную яркой трехсотсвечовой лампочкой. У отделанной резной панелью стены стояла железная кровать, табурет и тумбочка.

Не вязались с роскошью отделанных дубом стен и лепного потолка эта узенькая солдатская кровать и фанерная казарменная тумбочка. Он обратил внимание, что в хрустальной люстре не было ламп и рядом с люстрой спускался шнур с патроном. Новиков пошел поужинать в столовую – просторный, высокий зал. В столовой было пусто, и лишь за крайним столиком два политработника ели сметану. Ужин оказался очень обильным, но Новиков, который не был равнодушен к соблазнам кухни, едва съел половину того, что принесла ему официантка, девушка с окающей нижегородской речью. Котлеты с жареной картошкой она принесла в эмалированной миске, а налистник со сметаной – в фарфоровой тарелке с золоченым ободком, с изображением пастушки в розовом платье, окруженной белыми овечками. Квас ему подали в голубом бокале, а чай в новенькой алюминиевой кружке, обжигавшей губы.

– Что это у вас пусто в столовой? – спросил он у официантки.

– А у нас тут многие семейные; у всех жены и ребята, – сказала девушка. – Одни сами готовят, другие домой берут.

Она подняла палец и с милой улыбкой чистого и наивного существа вдруг сказала:

– Некоторые девушки-официантки говорят: «Нам это не нравится – молодые семья и детей имеют», а я считаю: хорошо! И нам тут прямо как дома, у отца с мамой.

Она произнесла эту фразу запальчиво, горячо, видимо желая сочувствия своим мыслям, может быть, она вела об этом спор с подругой на кухне. Потом она снова подошла к Новикову и испуганно сказала:

– Что ж вы ничего не кушали, невкусно у нас? – И, наклонясь, доверительно прибавила: – Вы к нам, товарищ подполковник, надолго? Завтра смотрите не уезжайте, у нас в воскресенье

обед будет ой! Мороженое, и на первое щи кислые, из Слуцка сегодня бочку кислой капусты привезли. А то летчики обижались, что щей давно нет.

Она дышала ему в щеку, и глаза ее блестели. Не будь в них доверчивого, ребячьего выражения, Новикова бы не растрогал доверительный шепот волжской девушки – он бы его принял за заигрывание.

Спать не хотелось, и он пошел в сад.

Широкие каменные ступени казались ему при лунном свете мраморно-белыми. Тишина стояла совершенная, необычайная какая-то. Деревья словно погрузились в прозрачный пруд – таким неподвижным был светлый воздух.

Странный, смешанный свет луны и зари самого долгого дня года стоял в небе. На востоке угадывалось мутное светлое пятно, а запад едва розовел. Небо было беловатое, мутное, с синевой.

Каждый лист на ветвях был резко очерчен, казался вырубленным из черного камня, а вся громада кленов и лип представлялась плоским черным узором на светлом небе. Красота мира переступила в эту ночь свой высший предел, и люди уже не могли не замечать ее и не думать о ней. Это торжество красоты наступает, когда не только праздный человек останавливается, пораженный открывшейся ему картиной, но и отработавший смену рабочий, путник со сбитыми ногами вдруг, забывая усталость, медленным взором охватывают небо и землю.

В такие минуты человек не ощущает по отдельности света, простора, шороха, тишины, тепла, сладких запахов, касания травы и листьев – всех сотен, а может быть, тысяч и миллионов частей, слагающих красоту мира.

Такая красота – истинная красота и лишь об одном говорит человеку: жизнь – благо.

И Новиков все ходил по саду, останавливался, оглядывался, присаживался, вновь ходил, ни о чем не думая, ничего не вспоминая, охваченный бессознательной печалью о том, что красота этого мира живет, не делясь своей долговечностью с людьми.

Придя в комнату, он разделся и в носках подошел к лампочке, стал вывинчивать ее из патрона – лампочка нагрелась, жгла пальцы, – и он взял со стола газету, чтобы обернуть ею лампу.

К нему вернулись обычные мысли о завтрашнем дне, об отчете, который он почти закончил и вскоре повезет в штаб округа, о том, что следует сменить перед отъездом аккумулятор у машины и что удобнее всего сделать это на рембазе танкового корпуса.

Уже в темноте он снова подошел к окну и мельком, рассеянно поглядел на сад, на небо – им уже владели обычные житейские мысли. Он не раз вспоминал потом именно об этом уже безразличном, сонном и рассеянном настроении, с которым оглядел тихий, ночной сад, – последний взгляд на мирное время.

Он проснулся с точным сознанием происшедшего несчастья, но совершенно не представлял себе, в чем оно.

Он увидел паркет в алебастровой крошке и сверкавшие оранжевыми отблесками хрустальные подвески люстры.

Он увидел грязно-красное небо в черных клочьях дыма.

Он слышал женский плач, вопль ворон и галок, грохот, колебавший стены, и одновременно слышал слабый, ноющий звук в небе, и, хотя этот ноющий звук был самым мелодичным и тихим из всех звуков, наполняющих воздух, именно он заставил Новикова инстинктивно содрогнуться, вскочить с кровати.

И все это он увидел и услышал в течение одной лишь доли секунды. Он кинулся, как был, в нижнем белье, к двери и вдруг сам себе сказал: «Спокойствие!» – вернулся и стал одеваться.

Он заставил себя застегнуть все пуговицы на гимнастерке, поправил ремень, одернул кобуру и размеренным шагом пошел вниз.

Впоследствии ему приходилось часто встречать в газетах выражение «внезапное нападение», но представляли ли себе люди, не видевшие первых минут войны, всю силу этих слов?

По коридору бежали одетые и полуодетые люди.

Все спрашивали, но никто не отвечал на вопросы.

– Загорелись бензобаки?

– Авиабомба?

– Маневры?

– Диверсанты?

На ступенях стояли летчики.

Один из них, в гимнастерке без пояса, сказал, указывая в сторону города:

– Товарищи, глядите!

Над вокзалами и железнодорожной насыпью вздувались, пузырились, рвались к небу кроваво-черные пожары, плоско над землей вспыхивали взрывы, и в светлом, смертном воздухе мелькали, кружились черные комарики-самолеты.

– Это провокация! – крикнул кто-то.

И чей-то негромкий, но всеми услышанный голос, уже не спрашивающий, а уверенно вещая суровую правду, внятно произнес:

– Товарищи, Германия напала на Советский Союз, все на аэродром!

С какой-то особой остротой и точностью запомнил Новиков ту минуту, когда, кинувшись следом за всеми к аэродрому, он остановился среди сада, по которому гулял несколько часов назад. Был миг тишины, и могло показаться, что ничего не произошло. Земля, трава, скамейки, плетеный столик под деревьями, на котором лежала картонная шахматная доска и рассыпанное, не собранное после игры домино...

Именно в этот миг тишины, когда стена листвы закрыла от него пламя и дым, он ощутил режущее, почти невыносимое для души человека чувство исторической перемены.

Это было чувство стремительного движения, подобное тому, которое испытывал бы человек, внезапно ощутивший кожей, зрением, протоплазмой каждой клетки ужасное стремление земли среди мировой бесконечности.

И это пришедшее изменение было неотвратимым, и хотя лишь один крошечный миллиметр отделял еще жизнь Новикова от привычного берега, не было уже силы, способной уничтожить этот зазор, он рос, ширился, превращался в метры, километры... Жизнь и время, которые Новиков еще физически ощущал, как свое настоящее время и свою настоящую жизнь, в нем, внутри его сознания, превращались в прошлое, в историю, в то, о чем станут говорить: «О, так жили и думали люди до войны». А новое внезапно, из смутно угадываемого будущего, превратилось в настоящее, в его новую жизнь и в его новое время. В этот миг он подумал о Евгении Николаевне, и ему показалось – мысли о ней будут сопутствовать ему в том новом, что пришло...

Желая сократить путь к аэродрому, он перелез через забор и бежал меж ровного строя молодых елок. Возле маленького домика – вероятно, там жил бывший садовник помещика – стояли поляки, мужчины и женщины, и, когда он пробежал мимо них, женский голос жадно, с придыханием спросил:

– Кто то, Стасю?

И звонкий детский голос ответил:

– То москаль, русский, мамо, – и прибавил объясняюще: – Жовнеж².

Он бежал и, задыхаясь от бега, повторял застрявшее в его потрясенном сознании слово:

– Русский солдат, русский, русский солдат...

² Солдат (польск.).

И в этом слове было для него какое-то горькое и гордое, радостное и новое звучание. На второй день войны поляки только и говорили:

– Русские убитые... русские ехали... русские ночевали...

В первые месяцы войны произносилось с горечью: эх, только мы, русские... русские порядки... наше русское везение... русское авось... русские дороги... Но это горькое определение, которое с болью большого отступления вращалось в душу Новикова, с горечью, с тоской становилось частью его судьбы, жизни, наполнялось соками, связывалось множеством связей с душой и сознанием его, ждало дня военного праздника для перехода в свою положительную противоположность.

Едва Новиков подбежал к аэродрому, как от вершины ближайшего леса оторвались самолеты – один, два, тройка и еще тройка... Что-то хлестнуло, екнуло, и земля задымилась, вскипела, как вскипает вода, он невольно зажмурился – пулеметная очередь пронеслась в нескольких шагах от него, и тотчас его оглушило ревом мотора, и он успел увидеть кресты на крыльях, свастику на хвосте самолета и голову пилота в летном шлеме, мельком оглядывающего содеянное. И тотчас вновь стал нарастать гул, рев идущего на бреющем полете второго штурмовика... И за ним третьего...

На аэродроме пылали три самолета, и люди бежали, падали, вскакивали и вновь бежали...

Летчик, бледный юноша, с выражением решительной и мстительной злобы, влезал в кабину истребителя, махнув мотористу рукой: «от винта», повел подрагивающий самолет на взлетную дорожку; и едва самолет, приглатывая струей воздуха седую от росы траву, разбежался, подпрыгнул, стал взбираться по небу, завертелся винт еще одного истребителя, и он, ободряя себя ревом мотора, подпрыгнул, точно пробуя силу мускулистых ног, побежал, оторвался от земли и потянул вверх. То были первые воздушные солдаты, пытавшиеся заслонить своим телом тело народа...

...На первый советский самолет навалились четыре «мессершмитта». Присвистывая и подвывая, они шли за ним, выпуская короткие пулеметные очереди. «МиГ» с простреленными плоскостями, задымившись, кашляя, выжимал скорость, стремясь оторваться от противника. Он взмыл над лесом, потом внезапно исчез и так же внезапно появился вновь, потянул обратно к аэродрому, а за ним полз черный траурный дым.

В это мгновение гибнущий человек и гибнущий самолет слились, стали едины, и все, что чувствовал там, в высоте, юноша пилот, передавали крылья его самолета. Самолет метался, дрожал, охваченный судорогой, той, что передавали ему охваченные судорогой пальцы летчика, терял надежду и вновь боролся, уже не имея надежды. Солнце летнего рассвета освещало его, и все, что испытывало сознание юноши: ненависть, страдание, жажду победить смерть, и все, что испытывали его сердце, его глаза, – все передал стоявшим внизу гибнущий самолет. И то, чего страстно хотели люди на земле, вдруг свершилось. Вторая машина, о которой все забыли, стремительно зашла в хвост «мессершмитту», добивавшему советский истребитель. Удар был внезапен – желтый огонь смешался с желтизной окраски, и немецкая машина, секунду назад казавшаяся неотвратимо мощным, стремительным демоном, расщепилась, рассыпалась и грудой повалилась на вершины деревьев. Одновременно, развернув в утреннем небе черный гофрированный дым, рухнул растерзанный советский истребитель. Три «мессершмитта» ушли на запад, а оставшийся в воздухе советский самолет сделал круг и, карабкаясь по невидимым воздушным ступеням, ушел в сторону города.

Голубое небо стало пусто, и только два черных столба дыма, наливаясь, густея, подрагивая, поднимались над лесом.

А через несколько минут на аэродром тяжело, устало опустился самолет, из него вылез человек и хрипло крикнул:

– Товарищ командир полка, во славу советской родины – двоих сбил!

И в глазах его Новиков увидел все счастье, всю ярость, все безумие и весь разум того, что происходило в небе, того, что летчики никогда не могут рассказать словами, но что вдруг, не успев еще погаснуть, мелькнет в их расширенных ярких глазах в миг приземления.

В полдень Новиков в штабе полка слышал по радио речь Молотова. Он подошел к командиру полка, вдруг обнял его, и они поцеловались.

«Наше дело правое, победа будет за нами!»

Днем Новиков был в штабе стрелковой дивизии... В Брест уже нельзя было проехать, говорили, что в город ворвались немецкие танки и что форты, стоявшие западнее города, обойдены ими.

Беспрерывный тяжелый грохот крепостной артиллерии потрясал маленький домик, в котором размещался штаб дивизии.

Как по-разному вели себя люди! Одни становились каменно-спокойными, у других голоса срывались, дрожали руки.

Начальник штаба, пожилой, сухощавый полковник с пятнами седины – казалось, она внезапно выступила в его волосах – знал Новикова по разбору прошлогодних маневров. Когда Новиков вошел, он, видимо вспомнив прошлогоднюю встречу, швырнул глухонемую телефонную трубку и сказал:

– А-а, похоже, «красные» и «синие»! В полчаса батальон списан! Нету! Весь! – И, ударив кулаком по столу, крикнул: – Бандиты!

Новиков сказал ему, указывая на окно:

– В ста метрах от вас какая-то диверсантская сволочь вон из этих кустов пустила две пули по моей машине, надо бы послать красноармейцев.

Начальник штаба пренебрежительно отмахнулся рукой:

– Всех не переловишь!

Подмаргивая глазом, точно выгоняя из него соринку, мешавшую правильно и спокойно смотреть, он заговорил:

– Только началось, комдив кинулся в полки... А я здесь. Мне звонит командир полка, голос спокойный: «Веду бой с пехотой и танками, отразил артогнем две атаки». Второй докладывает: «Немецкая танковая колонна раздавила пограничную заставу, поток танков движется по шоссе. Веду огонь!»

Начальник штаба ткнул пальцем в карту:

– Вдоль нашего крайне левого прошли танки... А пограничники не оглядываются, дерутся до последнего. А тут жены, дети, ясли, каким маршрутом их эвакуировать? Так их посадили в грузовики и увезли, а куда – может быть, под эти самые танки, что мимо нас прошли. А боеприпасы? Оттягивать, подвозить? Задача! – Он выругался и, понизив голос, сказал: – На рассвете позвонил в штаб корпуса, и умник один дал указание: «Не поддавайтесь на провокацию!» А? Дурак!

– А здесь что? – спросил Новиков, указывая на карте участок, прилегающий к шоссе.

– Тут-то батальон и погиб, и комдив здесь погиб!.. Золотой мужик! – крикнул начальник штаба. Он потер ладонями лицо, точно умывался, и указал на стоящие в углу бамбуковые удилища, бредень, подсак: – Сегодня в шесть часов утра с ним собирались... Линь, говорит, здесь в прошлое воскресенье хорошо клевал. А? Золотой мужик, нету, как не жил на свете! А зам по строевой из Кисловодска едет, с первого я должен был ехать. Уже литер выписал. А?

– Какие вы даете приказания полкам? – спросил Новиков.

– Единственно возможные. Помогаю выполнять долг: командир полка говорит: «Веду огонь». Веди! Люди окапываются. Окапывайся... Все хотят одного: отбить! остановить! – И его внимательные, умные глаза спокойно и прямо поглядели на Новикова.

Небо, казалось, уже далеко на восток было захвачено немцами. Все вокруг содрогалось от дальних и ближних взрывов. Земля вдруг начинала дрожать, словно в смертной икоте, солнце

тонуло в дымной пелене. Со всех сторон доносилось хлопанье скорострельных пушек и уже ставший знакомым хрип крупнокалиберных пулеметов. В этом хаосе движения и звуков как-то особенно болезненно и щемяще угадывался общий смысл смертоносной работы немецких летчиков. Одни спешили, не обращая внимания на происходящее под ними, на восток, видимо заранее и точно зная свою злодейскую задачу, другие по-разбойничьи рыскали над пограничными участками, третьи деловито уходили за Буг на свои аэродромы.

Лица командиров выглядели в этот день по-новому – побледневшие, осунувшиеся, с большими серьезными глазами, то уже были лица не просто сослуживцев, а братьев. В этот день Новиков не видел ни одной улыбки, не слышал ни одного веселого, легкого слова. Никогда, пожалуй, как в этот день, не заглядывал он так глубоко в истинные и скрытые глубины человеческих характеров, открытые лишь в самые грозные и тяжелые минуты жизни. Сколько увидел он в эти часы людей неколебимой воли, суровой сосредоточенности. Вдруг открылась чудная сила души у молчаливых, тихих, незаметных, у тех, что считались иногда второстепенными работниками, малоспособными. Вдруг пустота открылась в глазах некоторых из тех, кто так шумно, энергично и самоуверенно вел себя вчера: они оказались подавленными, жалкими, растерянными.

Минутами представлялось, что все происходящее – мираж, вот дунет ветер, вернется тихая вчерашняя ночь, вечер, вернутся мирные дни, недели, месяцы. То, наоборот, казалось, что сад, залитый луной, ужин в полупустой столовой, милая девушка-подавальщица и все бывшее неделю, месяц назад – все это снилось, а истинная, подлинная действительность – вот этот грохот, дым, огонь.

Под вечер он был в стрелковом батальоне, а затем в расположенном рядом артиллерийском полку. К этому времени он сделал выводы из того, что видел. Ему казалось, что главной бедой первых часов войны было отсутствие связи. Если бы связь была безукоризненна, считал он, все бы пошло иначе. Он решил при докладе привести в пример стрелковую дивизию, которую посетил днем: начальник штаба поддерживал связь с полками, и полки дрались хорошо, дивизия сохранила боеспособность, а полк, потерявший в самом начале связь со штабом, был смят и уничтожен. И он действительно потом привел этот пример, но, конечно, полк не имел связи с дивизией оттого, что был смят, а вовсе не потому был смят, что не имел связи. Обобщения, возникшие из немногих отрывочных наблюдений, мало помогают пониманию сути огромных и сложных явлений.

Простая истина первых часов войны была в том, что с пользой для Советской России и с ущербом для врага выполняли свой долг те, кто имел силу, мужество, веру и спокойствие драться с сильнейшим врагом, нашел эту силу в своей собственной душе, в своем чувстве долга, в опыте, знаниях, воле и разуме, в своей верности и любви к родине, народу, свободе.

Через час Новиков побывал в тяжелом гаубичном полку. Командир полка был в отпуске, командовал полком заместитель по строевой части молодой майор Самсонов. Длинное, худое лицо его было бледно.

– Какова обстановка? – спросил Новиков.

Майор только махнул рукой:

– Сами видите.

– Какое вы приняли решение?

– Да, собственно, что ж, – сказал майор, – они стали наводить переправу, у реки скопилось много войск, я открыл огонь, веду огонь орудиями всего полка. – И, словно оправдываясь в неразумном поступке, добавил: – Хорошо получается, я смотрел в стереотрубу: такие фонтаны, столько их наворотили – мы ведь вышли на первое место в округе по стрельбе.

– А дальнейшее, – строго спросил Новиков, – вам поручены техника, люди?

– Что ж, буду стрелять, пока могу, – сказал майор.

– Снарядов много?

– Хватит, – сказал Самсонов и добавил: – Радист мой поймал: Финляндия, Румыния, Италия – все на нас, а я вот стреляю, не хочу отступать!

Новиков прошел на огневые позиции ближней батареи. Орудия ревели, лица людей были суровы и напряженны, но возле орудий не было суеты. Полк всей страшной и стройной мощью своей обрушился на наведенную немцами переправу, крушил танки и мотопехоту, скопившиеся на подходе к реке.

Те же слова, что произнес бледный длиннолицый майор, Новиков услышал и от красноармейца-заряжающего; повернув к нему потное загорелое лицо, красноармеец сказал с угрюмым спокойствием:

– Вот расстреляем все снаряды, а там видно будет, – словно это именно он, обдумав положение, решил не оттягиваться в тыл, выдвинуться вперед и вести огонь по немцам до последнего снаряда.

Странно, но именно тут, в этом обреченном полку, Новиков единственный раз за весь день почувствовал себя спокойно. Началась битва: русский огонь встретил немцев.

Артиллеристы работали с молчаливым спокойствием.

– Вот и началось, товарищ подполковник, – сказал Новикову светлоглазый наводчик орудия, словно он и вчера ожидал того, что началось сегодня.

– Ну как с непривычки? – спросил Новиков.

Наводчик усмехнулся:

– Разве к ней привыкнешь? Что в первый день, что через год. Самолет у него отвратительный.

Новиков, покидая артиллеристов, невольно подумал, что никогда уже не увидит никого из них.

А зимой на Северском Донце, под Протопоповкой, он встретил своего знакомого начальника армейского штаба артиллерии, и тот рассказал ему, что полк Самсонова с боями шел до Березины и почти не понес потерь. 22 июня на Буге Самсонов так и не дал немцам переправиться, уничтожил массу немецкой техники и живой силы. Самсонов погиб лишь на Днепре осенью.

Да, у войны была своя логика.

Многое пришлось ему видеть в этот день. И хоть немало горького и печального пережил он, этот самый тяжелый день в истории народа наполнил сердце его гордостью и верой. И над всеми впечатлениями дня воцарилось одно – спокойные и суровые глаза красноармейцев-артиллеристов, в них жил титанический дух народной силы и терпения. В ушах его остался рев советской артиллерии, далекий тяжелый гул крепостных орудий брестских фортов – там, в огромных бетонных дотах, люди вели свой рыцарский бой и тогда, когда лавина немецкого нашествия уже подкатывала к Днепру.

К вечеру, после долгого петляния по проселочным дорогам, Новиков выехал на шоссе. И только тут он понял по-настоящему огромность происшедшего народного бедствия.

Он видел тысячи людей, идущих на восток. По дорогам шли грузовики, полные женщин, мужчин, детей, часто полуодетых, все они одинаково оглядывались и смотрели на небо. Мчались цистерны, крытые грузовики и легковые машины. А по полю, вдоль обочин, шли сотни людей, некоторые, обессилив, садились на землю, вновь вставали и шли дальше. Вскоре глаза Новикова перестали различать выражение молодых и старых лиц женщин и мужчин, толкавших колясочки и тележки, несущих узлы и чемоданы... В памяти оставались лишь отдельные необычайные картины. Седобородый старик, державший на руках ребенка, сидел, опустив ноги в кювет, с кротким бессилием следил за движением машин. Длинной цепочкой вдоль обочины шли слепые, связанные друг с другом полотенцами, за своим поводырем, пожилой женщиной в круглых очках с растрепавшимися седыми волосами. Идущие парами мальчики и девочки в матросках, с красными галстуками, – видимо, летний пионерский лагерь.

Когда водитель остановил машину, чтобы залить бензин в бак, Новиков за несколько минут остановки услышал много рассказов: и о том, что Слуцк занят воздушным десантом, и о том, какую иступленную и лживую речь произнес на рассвете Гитлер, и нелепые слухи о том, что Москва разрушена воздушной бомбардировкой на рассвете 22 июня.

Новиков заехал в штаб танковой части, в которой служил до осени 1940 года, – штаб стоял неподалеку от Кобрина.

– Неужели вы только что оттуда? – спрашивали его знакомые. – Могут ли вырваться на шоссе немцы?

В Кобрине его уже не поражали толпы людей с узлами, плачущие женщины, потерявшие в суматохе детей, измученные глаза старух. В Кобрине его поражали чистенькие домики под красной черепицей, гардины на окнах, газоны, цветники, и он понял, что начал смотреть на мир глазами войны...

Чем дальше уходила в тыл машина, тем туманней становились его воспоминания о новых впечатлениях, события и лица сливались, и он не помнил, где ночевал и где едва не сгорел во время ночной бомбежки, где он видел в часовне зарезанных диверсантами во время сна двух красноармейцев – в Кобрине или в Березе Картузской.

Но вот отчетливо запомнилась ему ночевка в маленьком городишке, недалеко от Минска. Он приехал туда ночью. Городок был забит машинами. Новиков устал и, отпустив водителя, заснул в машине посреди шумной, гудящей площади. Он проснулся ночью и увидел, что машина его стоит одна среди широкой и совершенно пустынной площади, а вокруг бесшумно пылают дома, пылает весь онемевший, охваченный огнем городок.

За эти дни он так устал и так привык к оглушающему грохоту войны, что его не разбудила ночная бомбежка. Он проснулся от тишины.

В те дни в мозгу его просто и прочно сложился один образ. Он видел сотни пожаров: в красном, дымном огне горели многоэтажные здания белорусской столицы, горели школы и заводы, белым, легким огнем пылали деревенские избы под соломенной крышей, сараи и овины, в голубом и синем тумане горели сосновые леса, горела земля, покрытая сухой еловой иглой. И все эти пожары слились в его мозгу в один пожар. Родная страна представлялась ему огромным домом, и все было безмерно близко и дорого в этом доме: и деревенские комнатки, мазанные крейдой, и городские, с цветными абажурами, и тихие читальни, и светлые залы, и красные уголки в военных казармах...

Все дорогое и близкое ему пылало. Русская земля была в огне. Русское небо заволкло дымом. И казалось, никогда он не любил так нежно, так страстно, всей кровью своей, всеми силами души и сердца эту землю и леса, это небо, эти тысячи тысяч милых и родных ему человеческих лиц.

22

Утром Евгения Николаевна познакомила Новикова со своей матерью, сестрой и племянницей.

Степан Федорович уехал в шесть часов утра, а Софья Осиповна еще до света ушла в госпиталь.

Знакомство состоялось просто, и Новикову очень понравились женщины, сидевшие за столом: и смуглая, сидящая Маруся, и ее румяная дочь, сердито и весело смотревшая на него круглыми ясными глазами, и особенно Александра Владимировна – Женя была похожа на нее. Он глядел на белый широкий лоб Жени, на ее серьезные, внимательные глаза, на розовые губы, на небрежно, по-утреннему, уложенные косы и вдруг впервые в жизни понял по-особенному, по-новому, обычное, сотни раз произносимое слово «жена». И, как никогда, он почувствовал свое одиночество, понял, что ей одной он должен рассказать то, что пережил, о чем думал в этот тяжелый год, и что искал он ее, и думал о ней, и вспоминал ее в трудные минуты потому, что хотел этой, разбивающей одиночество, близости. У него все время было одновременно приятное и неловкое чувство, словно он посватался и ему устроили смотрины, пристально приглядываются к человеку, собиравшемуся войти в семью.

– Семейю война не могла разрушить и распатать, – сказал он Александре Владимировне.

Та вздохнула:

– Распатать, может быть, и не смогла, а убить семью, и не одну, война может.

На стене комнаты висели картины, и Мария Николаевна, заметив, что Новиков поглядывает на них, сказала:

– Вон эта, возле зеркала, с розовой землей, рассвет в сгоревшей деревне – творчество Евгении Николаевны. Вам нравится?

Он смутился:

– Тут трудно разобраться неспециалисту.

– Ночью, говорят, вы судили смелей, – сказала Евгения Николаевна.

Новиков понял, что Сережа уже доложил кому надо о зеленом старике.

А Маруся сказала:

– Чтобы любоваться Репиным и Суриковым, не надо быть специалистом. Лучше бы рисовала плакаты для цехов, красных уголков, госпиталей; я ей все время твержу об этом.

– А мне нравятся Женины картины, – сказала Александра Владимировна, – хотя я, старуха, вероятно, меньше вашего во всем этом понимаю.

Новиков попросил разрешения вернуться вечером, но не приехал ни вечером, ни на следующий день.

23

Штаб Юго-Западного фронта в летние месяцы 1942 года находился в непрерывном бессонном возбуждении, пришедшем на смену относительно спокойной воронежской зиме 1941 года. Войска фронта в боях, нанося потери противнику и неся потери, отходили на восток.

Штаб Юго-Западного фронта начал войну в Тарнополе. Бои за Львов, Ровно, Новоград-Волынская танковая битва, Житомир, Коростень, бои в окрестностях Киева, в Святошине, в Голосеевском лесу, на Ирпене, в Броварах, Пирятине, Борисове, Прилуках, Полтаве и жестокие октябрьские бои под Штеповкой, сдача Харькова – все эти города, местности, события стали навсегда памятны сотням тысяч людей, прошедших от Тарнополя до Волги.

С ноября 1941 года штаб фронта стоял в Воронеже. Среди командиров и сотрудников штаба немало было киевлян, харьковчан, днепропетровцев. И войска, стоя в курских и воронежских снегах, в Ельце и в Ливнах, под Щиграми, хранили в душе своей память об оставленных ими украинских селах, реках, городах, тоску по покинутым близким, женам, ребятам, матерям, память о родных домах, полях и садах...

Зимой наступление немецких армий было приостановлено на всех фронтах. Первым из зимних успехов Красной Армии было освобождение Ростова войсками Ремизова, Харитонова и Лопатина. Вскоре после этого войсками Мерецкова был освобожден Тихвин. В середине декабря мир узнал о грандиозном разгроме немцев на Западном фронте и провале немецкого наступления на Москву. Сотни населенных пунктов и десятки городов были отбиты у немцев войсками Жукова, Лелюшенко, Говорова, Болдина, Рокоссовского, Голикова. Войсками Масленникова и Юшкевича были освобождены Клин и Калинин. В Крыму немцы были выбиты из Керчи и Феодосии. Совинформбюро сообщало о разгроме танковой армии Гудериана севернее Тулы и об освобождении Калуги. В конце января войска Северо-Западного и Калининского фронтов под командованием Еременко и Пуркаева прорвали немецкую оборону и заняли Холм, Торопец, Селижарово, Оленино, Старую Торопу.

Да и у Юго-Западного фронта были немалые успехи. Дивизии Костенко осуществили удачный прорыв на Северском Донце и заняли важный узел железных дорог – Лозовую. Всю зиму шли тяжелые бои за опорные пункты – на северном крыле фронта в районе Ельца, в центре у Щигров, на юге под Чугуевом и Балаклеей.

В конце зимы на фронт начали прибывать резервы. Началось харьковское наступление. Войска армии Городнянского форсировали Северский Донец, устремились на Протопоповку, Чепель, Лозовую, в узкие ворота между Изюмом, Барвенковым, Балаклеей.

Но немцы, сконцентрировав большие силы, ударили по флангам без оглядки вошедших в прорыв войск, сомкнули кольцо окружения. Захлопнулись ворота, распахнутые наступавшими на Харьков войсками маршала Тимошенко. Армия Городнянского погибла в окружении. И вновь в пыли, в дыму, в пламени отступали войска и штабы. И новые названия местностей, городов вошли в память людей, присоединились к прошлогодним: Валуйки, Купянск, Россошь, Миллерово. И к той, прошлогодней, боли о потерянной Украине добавилась новая, режущая – штаб Юго-Западного фронта пришел на Волгу, за спиной его были степи Казахстана.

Еще квартиры размещали сотрудников отдела штаба, а в оперативном отделе уже звонили телефоны, карты лежали на столах, стучали пишущие машинки.

В оперативном отделе работа шла так, словно штаб стоял уже месяцы в Сталинграде. Люди, бледные от бессонницы, равнодушно и поспешно проходили по улицам, зная лишь то, что было неизменной реальностью их жизни, как бы и где бы ни располагался штаб: в лесу, где с сосновых бревен блиндажного наката капала на стол янтарная смола; в деревенской ли избе, где гуси робко, ища хозяйку, входили вслед за делегатами связи из сеней; в домике районного городка, где на окнах стоят фикусы и воздух пахнет нафталином и пшеничной сдобой. Всюду и

езде реальность жизни штабных тружеников была одна: десяток телефонных номеров, связанные летчики и мотоциклисты, узел связи, аппарат Бодо, пункт сбора донесений, радиопередатчик, а на столе – исчерченная красным и синим карандашом карта войны.

Работа «операторов» в эти летние месяцы 1942 года была напряженней, чем когда бы то ни было. Обстановка менялась с часу на час. В избе, где два дня назад заседал Военный Совет армии, где степенный розоволицый секретарь Военного Совета, сидя за крытым красным сукном столом, записывал по пунктам в протокол решения командования, – в этой самой избе спустя сорок часов командир батальона кричал в телефонную трубку: «Товарищ первый, противник просачивается через меня», и разведчики в полосатых маскировочных комбинезонах, прислушиваясь к пулеметным очередям, медлительно доедали консервы и торопливо перезаряжали диски автоматов.

Новикову часто приходилось докладывать начальнику штаба. Иногда его вызывали на заседания Военного Совета, и картина отступления, известная большинству частично и по догадкам, была ясна ему во всей полноте. Он хорошо знал разведывательную карту советско-германского фронта, перед глазами его стояли тяжелые утюги немецких армейских группировок. Зловеще звучали фамилии гитлеровских генералов и фельдмаршалов, возглавлявших армейские группы: Буш, Лееб, Рундштедт, Клюгте, Бок, Лист. Эти чуждые слуху немецкие имена связывались с близкими, дорогими ему названиями городов: Ленинград, Москва, Ростов...

Дивизии «литерных», ударных фронтов Бока и Листа перешли в наступление.

Фронт армии Юго-Западного направления был расколот, и к Дону устремились две германские подвижные армии – 4-я танковая и 6-я пехотная, все расширяя прорыв. В пыли, в дыму и в огне степного сражения возникла фамилия командующего 6-й германской пехотной армией генерал-полковника Паулюса.

На карте мелькали черные номера германских танковых дивизий: девятой, одиннадцатой, третьей, двадцать третьей, двадцать второй, двадцать четвертой. Девятая и одиннадцатая дивизии оперировали на Минском и Смоленском направлениях летом прошлого года и, видимо, перед сталинградским наступлением были переброшены на юг из-под Вязьмы.

Иногда казалось, что продолжается летнее наступление начала войны: те же номера немецких дивизий, что возникали на картах в прошлом году. Но эти немецкие дивизии после прошлогодних боев сохранили лишь номера и названия, состав их был полностью новый, пришедший из резерва, взамен выбывших, убитых.

А в воздухе действовал четвертый флот «африканца» Рихтгоффена: массированные налеты и разбойничий террор «мессершмиттов» на дорогах, преследование колонн, легковых машин, отдельных пешеходов и всадников.

И все движение огромных масс войск, кровавые бои, перемещение штабов, аэродромов, технических и материальных баз, прорывы немецких подвижных соединений, пожар, пылающий от Белгорода и Оскола до подступов к Дону, весь путь Юго-Западного фронта через курские, воронежские, донские земли к сталинградским степям – вся эта грозная картина, во всех своих подробностях, по числам календаря, ложилась на карту, которую вел Новиков.

В его уме шло напряженное сравнение событий прошлого лета с событиями нынешнего. Тогда он смутно, больше чувством, чем умом, угадывал в грохоте первого дня войны, в движении немецких самолетов план немецкого штаба. Зимние размышления, казалось ему, помогли понять этот план. Разглядывая на картах путь прошлогоднего немецкого наступления, Новиков видел, что немцы летом 1941 года избегали операций с открытым флангом. Южную армейскую группу Рундштедта прикрывал слева Бок, шедший с главными силами к Москве; левое плечо Бока все время защищал шедший к северу на Ленинград Лееб, а левый фланг Лееба был прикрыт балтийской водой.

Нынешним летом немцы явно изменили характер своих действий, они рвались на юго-восток, хотя над их левым флангом нависла с севера вся громада Советской России. В чем была разгадка этого?

Новиков не знал и не мог понять: почему наступали лишь южные фронты? Слабость? Сила? Авантюра?

Новиков не мог ответить на этот вопрос, тут нужно было знать то, чего не прочтешь на оперативной карте.

Он еще не осознал, что при вклинении на юго-востоке пассивность противника на Московском направлении, в центре и на севере является вынужденной, что немцы уже не в силах одновременно наступать по всему фронту и что левый фланг их обнажен «не от хорошей жизни». Он еще не мог знать того, что и это единственно возможное теперь для немцев наступление не будет иметь нужных резервов – они будут скованы активностью советских армий в центре и на северо-западе – и что даже в самые напряженные дни Сталинградского сражения немецкое командование не решится перебрасывать на юг дивизии из-под Москвы и Ленинграда.

Новиков мечтал о том, чтобы уйти со штабной работы. Он считал, что сумел бы, командуя частью, с наибольшей пользой применить свой опыт, накопленный за год напряженных размышлений, тщательного разбора военных операций, в осуществлении которых он принимал участие.

Он подал начальнику штаба докладную записку и своему начальнику отдела рапорт с просьбой освободить его от работы в штабе. Рапорт был отклонен, а о судьбе докладной он не знал – его не вызывали.

Читал ли докладную Новикова командующий?

Это волновало Новикова – в докладную вложил он, казалось ему, столько силы души и ума! У него имелся свой план построения и эшелонирования обороны полка, дивизии, корпуса...

Степь открывала широту маневра для наступающих, она позволяла молниеносные концентрации ударных войск прорыва; пока шли перегруппировки, пока стягивались по рокадным дорогам резервы, противник прорывался, выходил на оперативный простор, захватывал важные узлы, перерезал коммуникации. Укрепрайоны, как бы сильны они ни были, при широком маневре превращались в острова среди широкого разлива. Противотанковые рвы не имели в степи значения. Подвижность обороны! Маневр!

Новиков разрабатывал в деталях примерные планы обороны степных районов. Он учитывал десятки особенностей, связанных с ведением войны в широкой степи, при разветвленных, хорошо проходимых в сухие летние месяцы проселочных дорогах. В его сложных планах учитывались скорости разных видов моторизованного оружия и наземного транспорта, скорости истребителей, штурмовиков, бомбардировщиков, коэффициенты, соотношения скоростей с соответствующими видами оружия противника. Он разрабатывал планы быстрейших перебросок войск, молниеносных концентраций, дающих возможность не только остановить прорвавшегося противника, но и организовывать фланговые контрудары, прорывы в тех местах, где меньше всего мог их ожидать противник. Возможности маневра и подвижность обороны даже в период отступления, думал он, не исчерпывались быстрыми концентрациями живой силы и оружия на направлениях немецких прорывов. Возможности маневра и подвижной степной обороны были шире. Маневр позволял не только создавать заслоны, мешающие противнику прорываться и осуществлять операции на окружение, захватывать советскую технику и живую силу. Маневр, подвижность обороны позволяли советским войскам и в период отступления прорываться в тылы наступающего противника – рвать его коммуникации, окружать его.

Вот о наиболее полном и широком использовании всех возможностей подвижной степной обороны и думал Новиков.

Иногда, казалось ему, выводы его были особенно ясны, особенно важны, и сердце его вздрагивало от счастливого волнения.

В ту тяжелую пору десятки командиров, подобно Новикову, измышляли свои планы ведения боевых операций.

Новиков еще не знал о тех подвижных полках, которые были подготовлены в тылу. Истребительные противотанковые полки, обладавшие высшей подвижностью, сверхподвижностью, готовились вступить в сражение на дальних подступах к Сталинграду. Новейшие, модернизированные противотанковые пушки были сведены в дивизионы и полки «иптап». Грузовики, развивавшие большую скорость, способны были стремительно перебрасывать эти полки по широкому простору степной войны. Эти противотанковые полки могли наносить сокрушающие удары по разгаданным направлениям прорыва немецких танков. Эти летучие полки способны были на немецкий танковый маневр отвечать смелым и стремительным маневром.

Новиков не знал, да и не мог знать, что маневренная оборона, развития которой жаждал он, будет предшествовать невиданной жесткой обороне пехоты на ближних подступах к Сталинграду, на волжском обрыве, на сталинградских улицах и заводах. И уж конечно, не мог знать Новиков о том, что именно оборона Сталинграда в свою очередь будет лишь предшествовать наступательному удару подвижных войск.

Новиков составил себе ясные и прочные практические представления о многих вещах, которые до войны были знакомы ему лишь теоретически... Ночные действия пехоты и танков, взаимодействие пехоты, артиллерии, танков и авиации, кавалерийские рейды, планирование операций. Он знал сильные стороны и слабости тяжелых и легких пушек, тяжелых и легких минометов, оценивал разнообразные качества «Яков», «ЛАГов», «Илов», тяжелых, легких, пикирующих бомбардировщиков. Больше всего он интересовался танками; ему казалось, он знает все, что можно знать о всех мыслимых вариантах их боевых действий – днем, ночью, в лесу, в степи, в населенных пунктах, при прорывах обороны, в засадах, при массированных атаках...

Главным увлечением его была сверхподвижная, активная танковая, артиллерийская и воздушная огневая оборона. Но Новиков знал и помнил замечательные примеры обороны Севастополя и Ленинграда, где не часами и не днями, а неделями и месяцами огромные немецкие силы уничтожались в борьбе за клочок земли, за отдельную высоту, за каждый дот, за каждый окоп.

В его сознании шла постоянная работа, он не связал еще, но испытывал потребность осмыслить, связать, свести к единству ту массу событий, которые происходили на огромном протяжении советско-германского фронта. Эти события совершались и на степных, и на лесисто-болотистых театрах, на малой земле Хакко и Ханко, и на огромных просторах донских степей. Тут были и тысячекилометровые прорывы по равнинным и степным землям, и позиционная борьба на болотах, в лесах, в карельских скалах, где за год продвижение исчислялось сотнями, а иногда десятками метров.

В эти летние дни 1942 года Новиков сосредоточил силы своего ума на решении вопросов, связанных с активной подвижной обороной. Но война не могла в своей огромной многосложности переплетенных связей и зависимостей уложиться в решения, рожденные ценным, но все же ограниченным частным опытом.

И живой ум Новикова все напряженней и глубже обращался ко всей совокупности совершавшихся событий, к великому потоку действительности – источнику познания и мышления, главному контролеру формул и теорий.

24

Новиков торопливо шел по улице. Он, не спрашивая, видел, где расположены отделы штаба: в окнах он узнавал знакомые лица, у подъездов и парадных дверей знакомых часовых.

В коридоре ему встретился комендант штаба подполковник Усов. Краснолицый, с небольшими, узкими глазами и сильным голосом, Усов не был тонкой натурой, да и должность коменданта штаба не располагала к чувствительности. Опечаленное, расстроенное выражение казалось необычным для его неизменно спокойного лица. Взволнованным голосом он стал рассказывать Новикову:

– Летал, товарищ полковник, на «У-2» за Волгу, на Эльтон, там часть моего хозяйства стоит... солончак, степь, хлеб не растет, верблюды. Я уже подумал: если там стоять придется... куда размещать штаб артиллерии, инженерную часть, разведчиков, политуправление, второй эшелон – я даже не знаю. – Он сокрушенно вздохнул. – Вот только дынь там много, я их столько взял, что «кукурузник» еле поднялся, вечером пришлю вам парочку. Как сахарные...

В отделе Новикова встретили так, словно он год проблуждал в окружении. Оказалось, дважды в течение ночи его спрашивал заместитель начальника штаба, а под утро звонил секретарь Военного Совета, батальонный комиссар Чепрак.

Он прошел через просторную комнату, где уже были расставлены знакомые ему столы, пишущие машинки, телефонные аппараты.

Полногрудая, с крашеными волосами Ангелина Тарасовна, считавшаяся лучшей машинисткой штаба фронта, отложив махорочную папиросу, спросила:

– Не правда ли, чудный город, товарищ полковник? Чем-то напоминает Новороссийск.

Желтолицый, страдавший нервной экземой майор-картограф, поздоровавшись, сказал:

– Спал сегодня по-тыловому, на пружинном матрасе.

Младшие лейтенанты – чертежники и завитые девушки-бодистки быстро поднялись и звонким хором сказали:

– Здравствуйте, товарищ полковник!

А любимец Новикова – кудрявый, всегда улыбающийся Гусаров, – зная расположение к себе начальника, спросил:

– Товарищ полковник, я ночь дежурил, вы не разрешите мне после обеда в баню сходить помыться?

Он попросился в баню, зная, что начальники отпускают в баню охотнее, чем повидаться с родными или в кино либо выспаться после дежурства.

Новиков внимательно оглядел комнату, где стоял его стол, его телефон, запертый железный ящик с бумагами.

Лысый лейтенант, топограф Бобров, в мирное время учитель географии, принес новые листы карты и сказал:

– Вот бы, товарищ полковник, во время наступления так часто менять листы.

– Пошлите посыльного в разведотдел, а ко мне никого не пускайте, – сказал Новиков, разворачивая на столе карты.

– Тут подполковник Даренский два раза вас по телефону спрашивал.

– После двух пусть зайдет ко мне.

Новиков начал работать.

Стрелковые части, поддержанные артиллерией и танками, заслонили дальние подступы к Сталинграду и на время приостановили движение противника к Дону. Но в последние дни начали поступать тревожные донесения. Армейские разведотделы сообщали о крупном сосредоточении немецких танков, моторизованных и пехотных дивизий.

Чрезвычайно усложнились вопросы снабжения.

Новиков обсуждал эти тревожные сведения с начальником отдела генералом Быковым. Быков, со всегдашней недоверчивостью оперативщика к разведчикам, сказал:

– Откуда понакопали они эти новые номера немецких дивизий, где они их выискали? Разведчики любят пофантазировать.

– Но ведь не только разведчики – сообщают и командиры дивизий, и командармы о сильном давлении и новых частях противника.

– Командиры частей тоже не прочь преувеличить силы противника, а о своих скромно помолчать, – сказал Быков. – У них одна мысль: просить у командующего резервы.

Фронт был растянут на сотни километров, и плотность боевых порядков была слишком невелика для того, чтобы сдержать подвижные войска противника, который мог быстро сосредоточить в любом месте большие силы. Новиков понимал это, но в глубине души надеялся, что фронт стабилизируется. Он верил, надеялся – и боялся верить и надеяться. Ведь на подходе к фронту войск больше не было.

Вскоре начали поступать тревожные сведения, стало очевидно, что противник решительно атакует.

Удар немецких дивизий прорвал линию обороны.

Немцы бросили в прорыв танки. Новиков читал донесения, сличал их, наносил на карту новые данные. Ночные и вечерние сообщения не утешали.

Немецкий прорыв с юга расширился, намечалось движение на северо-восток. На карте обозначались новые немецкие клещи; нескольким дивизиям угрожало окружение.

Как хорошо знал Новиков эти загнутые синие клыки, быстро растущие на карте! Он видел их на Днепре, на Северском Донце, и вот они вновь возникли здесь.

Но сегодня тоска и беспокойство по-новому овладели им. На мгновение чувство бешенства охватило его, он сжал кулак, хотелось крикнуть, ударить изо всей силы по синим клыкам, ощерившимся на извилистую голубую и нежную линию Дона.

«Что это за счастье, – вдруг подумал он, – если увидел я Евгению Николаевну лишь потому, что армия отступила до Волги. Нету радости в такой встрече».

Он курил папиросу за папиросой, писал, читал, задумывался, снова склонялся над картой.

Кто-то негромко постучался.

– Да, – крикнул сердито Новиков и, поглядев на часы, потом на открывшуюся дверь, сказал: – А, Даренский, заходите.

Худощавый подполковник, со смуглым худым лицом и зачесанными назад волосами, быстро подошел к Новикову и пожал ему руку.

– Садитесь, Виталий Алексеевич, – сказал Новиков, – здравствуйте в новой хате.

Подполковник сел в кресло у окна, закурил предложенную Новиковым папиросу, затянулся; казалось, он удобно и надолго устроился в кресле, но, сделав еще одну затяжку, он вдруг поднялся, зашагал по комнате, поскрипывая ладными сапожками, потом внезапно остановился, сел на подоконник.

– Как дела? – спросил Новиков.

– Дела? Фронтовые вы лучше меня знаете, а мои личные – никак.

– Все же?

– Отчислен в резерв. Своими глазами видел распоряжение Быкова. И, представляете, настолько безнадежно отчислен, что сам начальник кадров мне сказал: «Вы страдаете язвой желудка, я вас пошлю на полтора месяца полечиться». – «Да не хочу я лечиться, я хочу работать!» Посоветуйте, товарищ полковник, что делать? – Говорил он быстро, негромко, но слова произносил четко, раздельно. – Как пришли сюда, знаете, предаюсь воспоминаниям, представляется все первый день войны, – вдруг сказал он.

– Ну? – сказал Новиков. – И мне вспомнилось недавно.

– Обстановка сходная.

Новиков покачал головой:

– Нет, не сходная.

– Не знаю, а я смотрю и вспоминаю: дороги забиты... потоки машин... Начальство нервничает, все спрашивают, как проехать, где меньше бомбят. И вдруг навстречу, с востока на запад, полк с артиллерией, по всем законам, как на маневрах, впереди разведка, боевое охранение, люди идут четко, в ногу. Останавливаю машину: «Чей полк?» Лейтенант отвечает: «Командир полка майор Березкин. Полк движется на сближение с противником». Вот это да! Тысячи тянутся на восток, а Березкин наступает. Как на них смотрели женщины! Самого Березкина я не видел, он вперед проехал. Вот я думаю: почему я этого Березкина никак забыть не могу? Все хочется встретить его, руку пожать. А почему же со мной так получилось, что я в резерве? Нехорошо, нехорошо ведь, товарищ полковник?

С месяц назад Даренский не ладил с начальником отдела Быковым. Как-то перед началом наступления советских войск на одном из участков фронта он высказал и обосновал мнение, что несколько южнее места предполагаемого прорыва противник концентрирует силы и готовит удар.

Начальник отдела назвал его доклад чепухой. Даренский вспылil. Быков, как выражаются, «поставил его по команде смирно», но Даренский продолжал утверждать свое. Быков обругал его и тут же дал приказ о его увольнении во фронтовой резерв.

– Вы знаете, я работников строго сужу, – сказал Новиков, – но определенно: если б мне дали командную должность, я бы взял вас к себе в начальники штаба. У вас нюх, интуиция хорошая, а это важно, когда глядишь на карту. Правда, вот насчет женского пола у вас слабость, но кто без слабостей.

Даренский быстро оглядел его живыми, весело блеснувшими карими глазами и усмехнулся, сверкнув золотым зубом:

– Одна беда, не дают вам дивизии.

Новиков подошел к окну, сел рядом с Даренским и сказал:

– Вот что, я сегодня с Быковым обязательно поговорю.

Даренский сказал:

– Спасибо большое.

– Ну, это вы бросьте – «спасибо».

Когда Даренский выходил из комнаты, Новиков вдруг спросил его:

– Виталий Алексеевич, вам новая живопись нравится?

Даренский оторопело посмотрел на него, потом рассмеялся и сказал:

– Новая живопись? Отнюдь нет.

– Но ведь как ни говори – новая.

– Ну и что же, – пожал плечами Даренский. – Вот о Рембрандте никто не скажет: старое, новое. О нем скажут: вечное. Разрешите идти?

– Да, пожалуйста, – протяжно сказал Новиков и наклонился над картой.

А через несколько минут вошла старшая машинистка Ангелина Тарасовна и, вытирая заплаканные глаза, спросила:

– Это верно, товарищ полковник, что Даренского отчислили?

Новиков резко сказал:

– Занимайтесь, пожалуйста, своими служебными делами.

В пять часов Новиков докладывал обстановку генерал-майору Быкову.

– Что там у вас? – спросил Быков и сердито посмотрел на стоявшую перед ним чернильницу. Он невольно раздражался, когда видел Новикова, словно тот, принося ежедневно тяжелые известия, именно и был виновником всех перипетий отступления.

Летнее солнце ярко освещало долины, реки и степи на карте, белые руки генерала.

Новиков размеренным голосом называл населенные пункты, начальник отдела отмечал их на своей карте карандашом, кивая головой, повторял:

– Так, так...

Новиков кончил перечисление, и генеральская рука, державшая карандаш, пропутешествовав с севера на юг, до устья Дона, остановилась.

Быков поднял голову и спросил:

– У вас все?

– Все, – ответил Новиков.

Быков составлял доклад о событиях, уже происшедших в начале месяца, и Новиков видел, что он встревожен обстоятельствами отчетной работы больше, чем событиями сегодняшней живой и грозной действительности.

Он стал объяснять Новикову движение армий, напирая на слова «ось» и «темп». Все это касалось прошедшего времени.

– Видите, – говорил он, водя тупым концом карандаша по карте, – ось движения тридцать восьмой проходит по совершенно точной прямой – темп отхода двадцать первой все замедляется.

И он, взяв линейку, стал прикладывать ее к карте.

Новиков сказал:

– Разрешите, товарищ генерал. Беда в том, что с такой осью да с такими темпами мы и на Дону не удержимся, а на подходе к нам никого нет.

Быков потер резиночкой солнечное пятно, переползавшее на красную ось движения одного из соединений, и сказал слова, которые Новиков часто слышал от него:

– Это не наше дело, над нами тоже есть начальство, резервами располагает Ставка, а не фронт.

После этого Быков посмотрел внимательно на ногти своей левой руки и недовольным голосом сказал:

– Сегодня генерал-лейтенант докладывает маршалу, вы, товарищ полковник, находитесь неотлучно в отделе: вас вызовут. А сейчас можете быть свободны.

Новиков понял недовольство Быкова. Начальник отдела относился к нему холодно. Когда стоял вопрос о выдвижении Новикова на старшую должность первого заместителя, Быков сказал: «Да, собственно, работник хороший, в этом ошибочного нет ничего, но, знаете, все-таки он неуживчивый, с сомнением, не сумеет организовать в работе людей».

Когда Новикова хотели представить к Красному Знамени, Быков сказал: «Хватит с него и звездочки», и он действительно получил Красную Звезду. Но когда Новикова зимой хотели забрать в штаб направления, Быков всполошился, стал хлопотать, писал объяснительную записку о том, что без Новикова он никак не может обойтись, и так же категорически отказался поддержать Новикова, когда тот подал рапорт о своем желании перейти на строевую должность.

Когда кого-либо из сотрудников отдела спрашивали, где получить те или другие сложные сведения либо кто может осветить запутанный вопрос, сотрудник убежденно говорил: «Лучше прямо к Новикову идите, а то Быков вас еще в приемной поманежит часика полтора, он либо заседает, либо доклад принимает, либо отдыхает, а потом скажет: «Спросите Новикова, я ему это дело поручал».

Комендант из уважения, а не по рангу давал Новикову на каждом новом положении хорошую квартиру; начальник АХО, человек без иллюзий, выдавал ему лучший габардин на костюм и лучшие папиросы, и даже официантки в столовой подавали ему обед вне очереди и говорили:

– У полковника минуты свободной нет, ему ждать нельзя!

Секретарь Военного Совета, батальонный комиссар Чепрак рассказывал однажды Новикову, как заместитель командующего, просматривая список вызванных на важное совещание, сказал:

– Быков есть Быков. Вызовите полковника Новикова.

И, видимо, Быков знал о таких вещах и не любил, когда Новикова вызывали на совещания. В последнее время он обижался и сердился на Новикова – тот подал начальнику штаба докладную записку, в которой излагал свои мысли и предложения, критически разбирал важную операцию. Быков знал от адъютанта, что докладная записка заинтересовала командующего. Его обижало, что Новиков подал записку, минуя своего непосредственного начальника, и даже не посоветовался с ним.

Он считал себя опытным и ценным работником, знатоком всех уставных положений, правил и норм, организатором сложной, многоэтажной документации – все дела и архивы находились у него в идеальном порядке, дисциплина среди сотрудников была на большой высоте. Он считал, что вести войну легче и проще, чем преподавать правила войны.

Иногда он задавал странные вопросы:

– То есть как это не было боеприпасов?

– Да ведь склад был взорван, а на ДОП не подвезли, – отвечали ему.

– Не знаю, не знаю, это никуда не годится, они обязаны были иметь полтора боекомплекта, – говорил он и пожимал плечами.

Новиков, глядя на хмурое лицо Быкова, подумал, что в личных делах начальник отдела умеет проявлять гибкость и изобретательность, умело поддерживает свой авторитет; здесь-то он быстро применяется к обстоятельствам, умеет отпихнуть кого следует, умеет показать товар лицом, то, что называется – ударить так, чтобы зазвенело, хотя такое поведение ни в каких правилах, уставах и нормах не обозначено.

Новиков, присмотревшись, заключил, что и знания Быкова сомнительны.

Он сказал:

– Афанасий Георгиевич, разрешите поговорить по одному вопросу.

Он назвал Быкова по имени и отчеству, намекая этим, что служебный разговор кончился и он просит разговора по личному поводу. Быков, поняв это, указал ему на стул:

– Пожалуйста, слушаю вас.

– Афанасий Георгиевич, я о Даренском, – сказал Новиков.

– То есть? – спросил Быков и поднял брови. – О чем, собственно?

По недоуменному выражению его лица Новиков понял, что разговор обречен на неудачу, и рассердился.

– Да вы знаете о чем: он работник ценный, зачем ему мотаться в резерве, мог бы дело делать.

Быков покачал головой:

– Мне он не нужен, думаю, и вы без него обойдетесь.

– Но ведь по существу в том споре он прав оказался.

– Тут дело не в существе, вернее, не в этом существе.

– В этом и существе. У него замечательное умение по небольшому количеству данных быстро разгадать обстановку, намерения противника.

– Мне в отделе гадалки не нужны, пусть идет в разведотдел.

Новиков вздохнул.

– Право же, странно, человек создан, можно сказать, природой для штабной работы, а вы его не хотите использовать. А я, танкист, не штабной работник, подаю рапорт – вы меня не отпускаете...

Быков закричал, вынул карманные золотые часы, удивленно наморщил лоб и приложил часы к уху.

«Обедать собрался», – подумал Новиков.

– Вот, у меня все, – сказал Быков. – Можете быть свободны.

25

Новикова вызвали к одиннадцати часам вечера. Рослый автоматчик одновременно почтительно и фамильярно спросил вполголоса:

– Вам куда, товарищ полковник?

Ощущение, возникавшее у Новикова в приемной командующего, всегда было одинаково, где бы ни расположился штаб – в сумрачных высоких залах старинного дворца или в маленькой мазанке с веселым палисадником. Всегда в приемной на окнах висели занавески и стоял полумрак, а люди говорили шепотом, то и дело оглядываясь на дверь; всегда генералы, ожидавшие приема, казались взволнованными, и даже телефоны звонили приглушенно, боясь потревожить торжественную обстановку.

В приемной ожидавших не было, Новиков пришел первым. За письменным столом сидел секретарь Военного Совета Чепрак, с желто-серым лицом человека, спящего днем и работающего ночью. Чепрак, нахмурившись, читал книгу.

Ординарец в медалях ужинал, поставив на подоконник тарелку. Увидя Новикова, он со вздохом поднялся и, лениво ступая, грустно позвякивая медалями, ушел с тарелкой в соседнюю комнату.

– Нету? – спросил вполголоса Новиков и кивнул на дверь.

– Есть, у себя, – ответил Чепрак не тем голосом, которым он обычно разговаривал в приемной, а самым обычным, которым говорил в столовой, и, похлопав ладонью по книге, сказал: – Вот жили мирные люди!

Чепрак встал и прошелся по комнате, потом подошел к подоконнику, у которого только что ел ординарец, и знаком пригласил Новикова. И когда Новиков подошел к нему, Чепрак, вдруг перейдя на украинский язык, которого Новиков от него ни разу не слышал, сказал:

– Чи вы чулы?

Новиков вопросительно глядел на него, и Чепрак, заглянув ему прямо в глаза своими умными, всегда насмешливыми, прищуренными глазами, сказал:

– Вы, мабуть, знаете, хто зараз Южным фронтом командує?

– Знаю.

– Ни, мабуть, знали, а зараз не знаете, бо вже не командує, – и, откинув голову, оглядел Новикова, поражен ли он новостью. Новикова известие не потрясло, но он видел волнение секретаря Военного Совета и понял, чем вызвано это волнение.

Он видел, что Чепрак ждет от него вопросов или хотя бы вопросительного движения. Но Новиков не задал вопроса и не кивнул вопросительно.

– Все теперь может быть, мало ли что, – и Чепрак развел руками. – Был один такой разговор: слишком привыкли отступать от Тарнополя до Волги, психология стала такая – отступать да отступать, – говорил он, видимо повторяя слова, ставшие ему известными. – Вот и штаб наш двенадцатого числа переименован из Юго-Западного в Сталинградский. Теперь и нет такого направления, Юго-Западного.

– Это кто сказал? – спросил Новиков.

Чепрак улыбнулся и, не отвечая на вопрос, сказал:

– Могут наше управление вывести в резерв, отведут, поставят где-нибудь за Волгу, а Дон поручат новому фронту. Сформируют новый штаб, а?

– Это ваше предположение?

Чепрак сказал:

– Словом, был один разговор по ВЧ, а кто, что – это я не скажу. – Он огляделся по сторонам и задумчиво, видимо чувствуя перемены и в личной своей судьбе, сказал: – Помните,

в Валуйках вы вышли из аппаратной, веселый, и сказали мне: «Битва за Харьков выиграна», а в этот час противник как раз и ударил с Изюм-Барвенкова на Балаклею.

Новиков сердито спросил:

– Что ж вы именно сейчас это вспомнили, так не полагается, война есть война. Да уж если вспоминать, не я один так говорил, а кое-кто повыше меня.

Чепрак пожал плечами:

– Просто вспомнил... Какие там люди были: Городнянский, и сам командующий фронтом генерал-лейтенант Костенко, и командиры дивизий Бобкин, и Степанов, и Куклин, а корреспондент какой славный Розенфельд, сутки мог рассказывать, до сих пор за них душа болит. Все погибли!

Заседание началось с опозданием.

В приемной собралось начальство столь высокое, что и генерал-майоры не решались сидеть на стульях и на диванах, а, стоя у окон, негромко беседовали, оглядываясь на закрытую дверь кабинета командующего. Быстрыми шагами вошел член Военного Совета фронта Иванчин, кивая приветствовавшим его подчиненным. Озабоченное лицо его казалось утомленным, а движения были быстрые, резкие.

Он громко спросил у секретаря:

– У себя?

Чепрак торопливо ответил:

– У себя, но просил несколько минут подождать.

Он произнес эту фразу с тем виноватым и почтительным выражением, с которым подчиненные иногда передают слова начальника, как бы сожалея, что не в их власти что-либо изменить здесь: зависело бы от него – с радостью бы раскрыл дверь перед Иванчиным.

Иванчин оглянулся на ожидавших, окликнул командующего артиллерией:

– Как на городской квартире, малярия не тревожит?

Командующий артиллерией единственный в приемной говорил в полный голос; он в этот момент смеялся тому, что шепотом рассказывал толстоплечий и полногрудый генерал, приехавший на днях из Москвы.

– Нет, пока благополучно, – сказал командующий артиллерией и указал Иванчину на своего собеседника. – Вот, представьте, приятеля встретил, вместе в Средней Азии служили.

Он подошел к Иванчину, и они заговорили короткими словами, которые бывают понятны людям, каждодневно встречающимся на общей работе.

– Ну, а с этим, вчерашним, как? – услышал Новиков вопрос командующего артиллерией.

– Окончание в следующем номере, как говорится, – ответил Иванчин, и командующий артиллерией рассмеялся, прикрыв рот толстой, широкой ладонью.

На лицах людей, прислушивающихся к разговору старших начальников, видно было желание разгадать, к чему относятся эти слова, но разгадать их было трудно – к чему только они не могли относиться! Как почти всегда бывает, люди, собравшиеся для важного дела, старались до поры не говорить о тревожившем и мучившем их, а вели посторонние разговоры. Новиков слышал басистый генеральский голос:

– Представляешь – гостеприимство: приходят мои люди и докладывают: «Столовые наши еще не развернулись, сотрудники пошли в столовую здешнего военного округа, а там проверяют талоны, по фронтовым не пускают, а местных тыловики – пожалуйста».

– Безобразие, – сказал второй. – Я позвонил Иванчину: оказывается, есть договоренность с командующим округом Герасименко, а местные головоотяпы изменили: изволь видеть, в столовой переполнение, и сотрудники штаба округа опаздывают на работу, не укладываются в обеденный перерыв.

– Ну и что, чем же кончилось? – спросил невысокий румяный генерал из разведотдела, час назад вернувшийся из армии и не знавший этой истории.

– А кончилось просто, – и второй собеседник незаметно указал на члена Военного Совета, – снял трубку, сказал командующему округом два словца, так после этого интендант с хлебом-солью всех фронтовых в дверях встречал.

Начальник разведотдела спросил у Быкова:

– Как квартира на новом положении, хороша?

– Хорошая, с ванной, окна на юг, – ответил Быков.

– Я уж отвык от городских квартир, даже странно как-то показалось. А ванна – бог с ней, приехал – и прямо в баню, это по-нашему.

Генерал, начавший разговор о столовой, спросил у разведчика:

– Благополучно доехали, товарищ генерал?

– Ох, – ответил тот, – днем закалялся ездить.

– Пришлось в канаву пикировать, как мой водитель говорит?

– Не спрашивайте, – рассмеялся генерал-разведчик, – особенно когда к Дону подъезжал, бреют прямо, три раза из машины выскакивал, думал, уж не доеду.

В эту минуту приоткрылась дверь и негромкий, сипловатый голос сказал:

– Прошу, товарищи, ко мне.

И сразу стало тихо, все лица сделались серьезными и хмурыми, и сразу забылся легкий смешливый разговор; этим разговором люди хоть на минуту, да отгораживались от суровой действительности. Да, есть такое свойство у нашего человека, солдат ли он, генерал ли – посмеяться и пошутить, когда уж очень плохо на сердце, когда свинцом лежит на душе горькая беда.

Голова командующего была тщательно выбрита, и даже при ярком свете электричества нельзя было отличить границу между лысиной и побритой частью головы.

Он прошелся по комнате, мельком и в то же время пытливо заглядывая в лица вытянувшихся перед ним генералов, кивал головой, потрогал пальцами маскировку окна, помедлил немного и сел за стол, положил свои большие крестьянские руки на карту и несколько мгновений, при общем молчании, размышлял, потом тряхнул головой и нетерпеливо, точно не его ждали, а заставляли его ждать, сказал:

– Что же, пора, начнем!

Докладывал заместитель начальника штаба.

– Был бы Баграмян, он бы доложил, – шепотом сказал сидевший рядом с Новиковым начальник разведотдела.

Докладчик начал с вопросов снабжения. Степные железные дороги находились под воздействием авиации, в последние дни немецкие самолеты начали минировать Волгу. Имелось уже сообщение о гибели грузового парохода на участке между Камышином и Сталинградом. Стоял вопрос о подвозе подкреплений и грузов по заволжской железной дороге Саратов – Астрахань. Но и эта дорога уже находилась в радиусе действия немецких бомбардировщиков; да, кроме того, доставка грузов из-за Волги была сопряжена с тремя перевалками: от железной дороги к Волге, через Волгу в Сталинград и от Сталинграда к фронту. Авиация противника энергично бомбит донские переправы. Докладчик дальше сказал, что паралич волжской транспортной артерии становится реальностью сегодняшнего и завтрашнего дней.

Иванчин при этих словах вздохнул и тихо сказал:

– Верно!

Докладчик говорил о тяжелом положении советской земли не общими словами газетных статей, а своим особым, точным языком военного человека. Он говорил обо всем этом не «вообще», а конкретно – потому что грозное и тяжелое положение страны, народа, государства непосредственно было соединено и связано именно с Юго-Западным, ныне Сталинградским фронтом.

Положение на фронте! Докладчик говорил подробно, с той откровенной резкостью, которую определяла и которую требовала война. Перед жестокой действительностью могла жить лишь одна правда, такая же жестокая, как действительность.

Новиков, уважавший заместителя начальника штаба, часто восхищавшийся его живым умом и знаниями, на этот раз хмурился:

«Нет, нет, и все же не о самом основном говорит он...»

– Когда в тылу соединения появились к исходу позавчерашнего дня подвижные части противника, командующий армией принял решение о занятии обороны по берегу водного рубежа, – говорил спокойным баском докладчик, и его белый, с коротко стриженным ногтем палец быстро и небрежно очертил по карте район боев. – Однако штаб в течение суток находился под интенсивным воздействием авиации противника, проволочная связь была нарушена, а радиопередатчик на четыре часа вышел из строя, вследствие этого приказ командующего не был доведен до командира левофланговой дивизии, а посылка делегатов связи также не имела успеха. Единственная коммуникационная линия была оседлана не только танковыми средствами, но и пехотой противника, видимо переброшенной на грузовиках.

Командующий фронтом спросил:

– Это все? Новых данных у вас нет?

– Есть, товарищ командующий, – сказал генерал и мельком поглядел на Новикова, докладывавшего ему час назад. – Разрешите, товарищ командующий?

Командующий кивнул.

– Штаб дивизии потерял управление полками вчера утром: танки ворвались на КП, командира дивизии тяжело контузило, и его удалось эвакуировать санитарным самолетом. Начальнику штаба раздавило ноги, он умер тут же на КП. С этого момента никакой связи ни со штабом, ни с полками не было.

– Естественно, штаб был уничтожен, – сказал Иванчин.

– Как фамилия начальника штаба? – спросил командующий, обращаясь к Быкову.

– Товарищ командующий, – сказал Быков, – он у нас недавно, переведен с Дальнего Востока.

Командующий ожидающе смотрел на Быкова.

Быков, прищурившись, с выражением страдания, которое испытывает человек, вот-вот готовый вспомнить нужное слово, помахал ладонью, пристукнул легонько ногой. Но эти действия не помогли ему.

– Полковник... полковник... прямо на языке... дивизия новая.

– И дивизия разбита, и людей уже нет, а для вас они все новые, – сказал, усмехнувшись, командующий и с усталым раздражением прибавил: – Я же говорил: знать фамилии! Вы, полковник, знаете?

Новиков назвал погибшего:

– Подполковник Алферов.

– Вечная ему память, – сказал командующий.

Несколько мгновений длилось молчание, и докладчик откашлялся и спросил:

– Разрешите продолжать?

– Давайте, – сказал командующий.

– Таким образом, подтверждается, что дивизия потеряла управление и боевые порядки ее были расчленены, – говорил генерал, – в результате армия лишилась локтевой связи с соседом на левом фланге, – этим деликатным выражением заместитель начальника штаба выразил то, что фронт был разорван и в образовавшуюся брешь устремились немецкие пехотные и танковые части. – Однако спустя сутки, – несколько повысив голос, сказал он, – линия фронта вновь приобрела целостность благодаря умелым и энергичным контратакам стрелковой дивизии полковника, – он посмотрел на командующего и отдельно произнес фамилию: – Савченко, –

видимо желая оправдать свое незнание фамилии погибшего начальника штаба новой дивизии. Он показал по карте начертание линии фронта и проговорил: – Такова была конфигурация фронта к шестнадцати часам.

– Конфигурация? – насмешливо переспросил командующий.

– Расположение частей армии, – поправился генерал, видя, что слово «конфигурация» раздражало командующего. – Однако в это время противник стал оказывать давление на участке соседней армии и в двух местах достиг тактического успеха, угрожая охватом правого крыла армии. В связи с этим Чистяков приказал отойти на новый рубеж и этим вынудил отход нашей армии.

– Не противник вынудил, а Чистяков? – спросил, усмехнувшись, командующий. – А я думал, что противник. Что на юге?

– На юге удалось стабилизировать фронт, но, судя по всему, противник, встретив сильное сопротивление и понеся чувствительные потери, концентрирует войска северней. – И докладчик стал подробно перечислять даты и рубежи боев, населенные пункты.

То, что говорил докладчик, свидетельствовало о его военной образованности и опыте, о знании противника, о знании обстановки, свидетельствовало о налаженной информации, и все же то, что он говорил, не удовлетворяло участников заседания. В новой, исключительной по тяжести военной обстановке, казалось, должно было возникнуть нечто чрезвычайное, качественно отличное от того, о чем докладывал генерал. Новикову казалось, что именно сегодня должно говорить о смелой русской маневренной войне. В ней вся суть.

«Читал он мою докладную?» – спрашивал себя Новиков, поглядывая на командующего.

После доклада командующий стал задавать вопросы. Некоторые генералы говорили о своих ошибках. Говорили о том, как развернутся события на новых рубежах обороны, на подступах к Дону.

Заседавшие думали о своей ответственности перед командующим, об ответственности за отступление с оборонительного рубежа, за невзорванную, оставленную противнику переправу, за потерянную технику. Об этой ответственности начальника перед начальником говорили люди, сидевшие на заседании. Но все они чувствовали в душе, что настало иное время и речь шла об ответственности бесконечно более суровой: об ответственности сына перед матерью, об ответственности солдата перед своей совестью и перед народом.

– Вот она, жесткая оборона, подвела! – сказал артиллерийский генерал, и все сидевшие поглядели на него, потом на председательствовавшего.

Командующий повернулся к нему и спросил:

– Что же?

Лицо генерала покрылось краской.

– Маневр, маневр! А предполье, жесткая оборона – это все... – Он махнул рукой. – Цельной линии фронта сегодня нет фактически.

– Маневр от Чугуева до Калача, – сказал, сердито усмехаясь, заместитель начальника штаба.

– Да, маневр, – ответил командующий, повторяя слова заместителя начальника штаба. – От Донца до Дона... Кто станет спорить, нынешняя война – это война маневра.

Руки Новикова похолодели от волнения. Артиллерийский генерал высказал его заветную мысль. Но ни командующий, ни Новиков, ни другие участники заседания не знали того, что зрело, скрыто развивалось и должно было родиться в эти дни.

Здесь, в Сталинграде, где даже наиболее консервативные люди готовы были признать полное торжество идеи маневра, именно здесь вызревала и должна была родиться жесткая оборона, подобной которой не знал мир ни во времена битвы за Трою, ни в сражении у Фермопил.

Командующий недовольным голосом сказал:

– Много говорим о тактике, спорим... вопрос в инициативе... У кого в руках инициатива, для того и тактика хороша.

Новиков подумал, что, быть может, он со своей докладной похож на шахматного игрока, наблюдающего игру другого, более опытного – все волнуется и хочет подать совет. Ему кажется, вот он видит ход, который решит всю партию, и он не понимает: играющий уже давно видел этот ход и знает его невозможность, ибо есть десятки других сложных и опасных комбинаций, они парализуют выгоду этого хода.

Инициатива!

– Вопрос один, товарищи, – сказал командующий, – до конца выполнять свой долг на том посту, на который ставит нас высшее командование.

Стало тихо, командующий, прервавший этими словами начальника автомобильного управления, сказал:

– Продолжайте.

– Я хотел дать справку о ремонте грузовых машин и наличии запасных частей, – сказал генерал, смущенный несоответствием своей будничной справки со значительностью того, что было сказано.

– Слушаю, – сказал командующий и внимательно склонил голову в сторону инженерного генерала.

В другое время, когда подчиненные осуществляли его замысел, он мог быть и нетерпим, и суров, видя леность разума, неумение, многословие вместо быстрого дела. Все это, может быть, он видел и сейчас, но в эти дни инициатива была у противника, и в этой главной, высшей беде он не хотел обвинить своих помощников, он не желал в их несовершенстве искать объяснения жесткого отступления.

Когда заседание окончилось и все, собрав бумаги и закрывая папки, поднялись с мест, командующий начал обходить участников заседания, пожимая руку каждому. Спокойное, широкое лицо его дрогнуло, глаза сощурились, словно он боролся с чем-то тревожным и острым, вдруг обжегшим его изнутри.

Дремавшие водители генеральских машин встрепенулись, поспешно заводили моторы, гулко, как выстрелы, хлопали автомобильные дверцы. Пустынная темная улица наполнилась гудением, шумом, засветились синие фары, и сразу же вновь стало тихо и темно.

От мостовой и стен домов отделялось тепло нагретого за день камня, но то и дело лица касалась прохлада – ветер нес ее с Волги. Новиков шел к штабу, громко стуча сапогами, чтобы комендантские патрули, слыша уверенный шаг, не задерживали его.

Внезапно он подумал о Евгении Николаевне. В душе, вопреки тому, что он знал и слышал, возникло ожидание счастливого, хорошего. И он не понимал, откуда эта уверенность в счастье, вдруг, вопреки разуму, охватившая его, откуда это упрямое и задорное чувство.

Казалось, душное тепло исходит не от городского нагретого камня, а трудно и жарко дышать от напряженных, тревожных и противоречивых мыслей.

Утром в столовой Чепрак негромко сказал Новикову:

– То, что вчера вам говорил, фактом стало: создан новый фронт, командующий сегодня на рассвете на своем «Дугласе» улетел в Москву.

– Вот как? – сказал Новиков. – Я снова буду просить строевую должность. На передовую.

– Что ж, решение хорошее, – спокойно и серьезно сказал Чепрак. И вдруг спросил: – Вы, я слышал, одинокий?

– Ну что ж, – ответил Новиков, – я еще жениться собираюсь.

И неожиданно, услышав им же в шутку произнесенные слова, смутился и покраснел.

26

Тяжелый путь штаба и войск Юго-Западного фронта от Валук до Сталинграда свершился.

Противник делал все возможное, чтобы превратить отступление в бегство. Линия фронта то и дело взламывалась, теряла целостность, дробилась, подвижные танковые войска немцев стремились глубоко в тыл советским войскам. Бывали случаи, когда по двум параллельно идущим дорогам, в клубах пыли, мчались молча, без выстрелов, на виду друг у друга советские колонны грузовиков с людьми, оружием, боеприпасами и немецкие танковые колонны.

Такие случаи были в июне 1941 года на шоссе в районе Кобрин, Березы-Картузы, Слуцка. Такие случаи были в июле 1941 года на Львовском шоссе, когда немецкие танки шли от Ровно на Новоград-Волынский, Житомир, Коростышев, обгоняя колонны советских войск, отступавших к Днепру.

Некоторые части, понесшие особо большие потери людьми и техникой, были выведены из боев и отведены в тыл, к Волге.

Красноармейцы спускались по обрыву, садились на песок, поблескивающий крупинками кварца и перламутровой крошкой речных ракушек. Морщась, ступали люди по колючим глыбам песчаника, оползавшего к воде. Дыхание воды касалось их воспаленных век. Люди медленно разувались. Сбитые, натертые ноги у некоторых солдат, прошедших от Донца до Волги, мучительно болели, даже ветер причинял им боль. Бойцы осторожно разматывали портянки, словно бинт перевязки.

Богатые мысли обмылочками, те, кто победней, скребли тело ногтями и песком.

Пыль и грязь черными и синими клубами заполнили воду, люди стонали от наслаждения, сдирали наждачную, острую, сухую пыль, выросшую на теле.

Вымытое белье и гимнастерки сохли на берегу, прижатые желтыми камнями, чтобы их не снесло в воду веселым волжским ветром.

Помывшись, солдаты садились на бережку, под высокий обрыв, и смотрели на угрюмую, песчаную заволжскую степь. Глаза, были ли то глаза пожилого ездового или глаза лихого, молодого наводчика пушки, наполнялись печалью. Тут, под этим обрывом, был край русской земли, там, на том берегу, начинались казахские степи. Если историки будущего захотят понять дни перелома, пусть приедут на этот берег и на миг представят себе солдата, сидевшего под волжским обрывом, постараются представить, о чем он думал.

27

Людмила Николаевна, старшая дочь Александры Владимировны Шапошниковой, не причисляла себя к молодому поколению, и посторонний человек, послушав ее разговоры с матерью о сестрах Марусе и Жене, вероятно, подумал бы, что разговаривают две подруги или сестры, а не мать с дочерью.

Людмила Николаевна была в отца: плечистая, тяжеловесная, с широко расставленными светло-голубыми глазами, светловолосая, эгоистичная, но одновременно и чувствительная, она соединяла в себе упрямство и практический разум с беспечной щедростью, житейскую безалаберность с трудолюбием.

Людмила вышла замуж восемнадцати лет, но с первым мужем прожила недолго – они разошлись вскоре после того, как родился Толя. С Виктором Павловичем Штрумом она познакомилась, учась на физико-математическом факультете, вышла за него замуж за год до окончания университета. Она окончила химическое отделение и готовилась защищать кандидатскую работу. Однако семейная жизнь постепенно затянула ее, и она оставила работу. Она винила в этом семью, тяжесть забот и бытовое неустройство. Но, пожалуй, причина была обратная – Людмила Николаевна оставила свои занятия в университетской лаборатории как раз в ту пору, когда научные успехи мужа совпали с семейным материальным благополучием.

Они получили в новом доме на Калужской улице просторную квартиру, а в Отдыхе дачу с большим участком земли. Именно в эту пору Людмила Николаевна оставила работу, ее увлекло хозяйство. Она путешествовала по магазинам, покупала посуду и мебель, а весной начинала работу в саду: сажала мичуринские яблони, разводила розы, затевала выгонку тюльпанов, растила ананасные помидоры.

О начале войны она узнала на улице, на углу Охотного ряда и Театральной площади. Она стояла в толпе, у репродуктора, она видела слезы на глазах у женщин и чувствовала, как слезы бегут по ее щекам...

Первую бомбежку Москвы, случившуюся вечером 22 июля, ровно через месяц после начала войны, Людмила Николаевна провела на крыше дома вместе с сыном. Она потушила в эту ночь зажигательную бомбу – и в розовом рассвете стояла рядом с Толей на плоской крыше дома, приспособленной под солярий, вся в чердачной пыли, бледная, потрясенная, но упрямая и гордая. На востоке, в безоблачном летнем небе всходило солнце, а с запада стеной поднимался черный, тяжелый и обильный дым: то горел толевый завод в Дорогомилове и склады у Белорусского вокзала. Людмила Николаевна без страха смотрела на зловещий пожар, лишь мысль о стоящем рядом сыне наполняла ее тревогой, и она обняла Толю за плечи, прижала его к себе.

Она постоянно дежурила на чердаке и стала буквально живым укором для тех, кто уходил ночевать к родственникам и знакомым, жившим недалеко от метро, чтобы избежать дежурства на крыше.

Ее друзьями в эти летние месяцы были управдомы, пожарники и не боявшиеся смерти школьники, ребята-ремесленники. Во второй половине августа Людмила Николаевна вместе с сыном и дочерью уехала в Казань. Когда муж посоветовал ей перед отъездом взять с собой наиболее ценные вещи, она, оглядев купленный в комиссионном магазине старинный фарфоровый сервиз, сказала:

– Зачем мне все это барахло? Я только удивляюсь, к чему я столько времени тратила на все это.

Муж поглядел на нее, потом на посуду, стоявшую в буфете, вспомнил, сколько волнений было при покупке всех этих тарелок, чашечек, вазочек, рассмеялся и сказал:

– Ну и чудесно, раз тебе все это не нужно, то мне и подавно.

В Казани Людмилу Николаевну с детьми поселили недалеко от университета в маленькой двухкомнатной квартирке. Через месяц приехал Штрум, но не застал жены. Она уехала в Лаишевский район работать в татарском колхозе. Муж написал ей, просил вернуться, напоминал о всех ее болезнях – миокардите, неправильном обмене, головокружениях.

Вернулась она в октябре, загоровшая, исхудавшая. Видимо, работа в колхозе помогла ее здоровью больше, чем советы знаменитых профессоров, диеты и поездки в Кисловодск.

Она решила поступить на службу, и муж взялся устроить ее в Институте неорганической химии, но Людмила Николаевна сказала ему:

– Пойду работать без скидок, на завод, цеховым химиком.

Так она и сделала. По-видимому, и в колхозе она работала без скидок – в конце декабря к дому подъехали сани, и старик татарин с помощью мальчика снес в сени два мешка пшеницы, причитавшиеся Людмиле Николаевне за ее колхозные трудодни. Зима была тяжелой. В начале зимы Толю мобилизовали, и он уехал в Куйбышев, в военную школу. Людмила Николаевна заболела воспалением легких, ее продуло в цехе, и она больше месяца пролежала в постели, а после выздоровления уже не вернулась в цех. Она занялась организацией артели вязальщиц, снабжавшей выписывавшихся из госпиталей раненых шерстяными фуфайками, варежками и носками. Комиссар одного из госпиталей определил ее в женский актив при госпитале. Людмила Николаевна читала раненым книги, газеты, и так как большинство эвакуировавшихся из Москвы ученых было ей хорошо знакомо, она устраивала для выздоравливающих лекции академиков и профессоров по различным научным вопросам.

Но она часто вспоминала свою бурную деятельность в московской команде ПВО и говорила мужу:

– Ох, если б не заботы о тебе и Наде, дня бы тут не прожила, уехала бы снова в Москву.

28

Фамилия первого мужа Людмилы Николаевны, отца Толи, была Абарчук. Людмила Николаевна вышла замуж за него, учась на первом курсе, а разошлись, когда переходила на третий. Он был членом курсовых и факультетских комиссий по чистке и по зачислению в третью, нэпманскую категорию по плате за правоучение студентов непролетарского происхождения.

Когда он, сухощавый, с тонкими губами, факультетский Робеспьер, проходил в своей потертой кожаной куртке, восторженный шепот поднимался среди студенток. Абарчук говорил Людмиле, что пролетарскому студенту жениться на девушке буржуазного происхождения немислимо, преступно.

Он обладал необычайной работоспособностью. С утра до поздней ночи занимался он студенческими делами – читал доклады, тщательно готовился к ним, устанавливал и множил связь между университетом и рабфактовцами, боролся с последними приверженцами Татьянина дня. При этом он умудрялся без отставания отрабатывать практикумы по качественному и количественному анализу и сдавал зачеты с хорошими отметками. Спал он не больше четырех-пяти часов в сутки. Родом он был из Ростова-на-Дону, там жила замужняя сестра его – муж ее работал конторщиком на заводе. Отец его, фельдшер, погиб в дни боев за Ростов, был убит снарядом, когда деникинцы вели артиллерийский обстрел города, мать умерла до революции.

Когда Людмила спрашивала Абарчука о его детстве, он, морщась, говорил: «Да о чем рассказывать, хорошего в детстве моем было мало, жил в условиях обеспеченных, довольно-таки буржуазных».

Он посещал по воскресеньям больных товарищей-студентов, лежавших в больнице, привозил им книги и газеты. Почти всю свою стипендию он отдавал в ячейку МОПР для помощи зарубежным коммунистам, узникам капитала.

Но он был суров и неумолим, едва дело касалось нарушения законов пролетарского студенчества. Он настаивал на исключении из комсомола девушки, надушившейся перед всемирным пролетарским праздником Первого мая. Он требовал исключения студента «нэпача», подкатившего на извозчике к ресторану «Ливорно» в пиджаке, с галстуком. Им была выявлена в общежитии студентка, носившая на груди крестик. Люди буржуазного происхождения внушали ему чувство физической брезгливости, и, если ему случалось при встрече в узком коридоре коснуться подозреваемой в буржуазности хорошенькой и нарядной студентки, он невольно отряхивал рукав своего военного кителя.

Женился он на Людмиле в 1922 году, через год после смерти ее отца. Комендант в общежитии поселил их в комнатке площадью в шесть квадратных метров. Людмила забеременела. Она по вечерам стала шить пеленки, купила чайник, две кастрюльки, глубокие тарелки. Все эти приобретения огорчали и раздражали Абарчука. Он считал, что современная семья должна полностью освободиться от кухонной кабалы. Питаться мужу и жене следует в общественной столовой, детям же надлежит получать пищу в яслях, детских садах и школьных интернатах. Идеальная обстановка комнаты представлялась ему таким образом: два письменных стола, один для мужа, второй для жены, книжные полки, две кровати, которые на день поднимаются и уходят в стену; в стене скрыт небольшой шкаф. В ту пору у него начался туберкулезный процесс. Товарищи выхлопотали ему двухмесячную путевку в ялтинский санаторий, но он отказался ехать, а путевку передал больному рабфактовцу.

То был он добр и великодушен, то становился упрям и жесток, едва дело касалось его принципов. Он был очень честен на работе, презирал жизненные удобства, презирал деньги, но ему случалось взять у товарища книгу и не вернуть ее, прочесть чужое письмо, заглянуть в Людмилин дневник, спрятанный под подушкой.

Людмиле казалось, что второго человека, подобного ее мужу, не было и не будет. До рождения ребенка она во всем подчинялась ему. Но едва родилось живое создание, человек, отношения их стали портиться. Абарчук все реже вспоминал о революционных заслугах Людмилиного отца и все чаще корил ее непролетарским дедом со стороны матери. Он видел: мещанские инстинкты, таившиеся в ней, вдруг пробудились, и толчком к тому послужило рождение ребенка. Абарчук мрачно, с печалью наблюдал, как жена надевала белый передник и, обвязав косынкой голову, варила в кастрюльке кашу, как ловко и быстро вышивала она меточки и каемочки на детском белье, сощурившись, разглядывала расшитый коврик над детской кроваткой. Целый поток чуждых, враждебных предметов врвался в комнату, и чем невинней казались они, тем трудней была борьба с ними.

Планы Абарчука о яслях, о воспитании сына в рабочей коммуне на металлургическом заводе были попорчены.

Однажды Людмила объявила свое решение перебраться летом на дачу к брату Дмитрию – у него просторно, приедут мать и младшие сестры, помогут Людмиле ухаживать за ребенком. Ее переезд к брату совпал с конфликтом – Людмила отказалась назвать сына Октябрем.

В первую же одинокую ночь Абарчук ободрал стены, привел комнату в прежний, не мещанский вид. До утра просидел он за столом, с которого снял скатерть с кистями, писал жене письмо. В этом письме, на шести страницах, он мотивированно изложил свое решение разойтись с ней. Он с восходящим классом, он раздавит в себе все личное и эгоистичное, она же, он убедился в этом, всей своей психикой и идеологией связана с классом, уходящим с исторической сцены, инстинкты личного господствуют в ней над началом общественным, им не только не по пути, они идут в разные стороны. Он отказался дать сыну свою фамилию – ему заранее ясно, что психика ребенка будет буржуазной. Это место письма обидело Людмилу до слез, а затем, когда она перечла его, привело ее в исцеляющее душевные раны бешенство. К концу лета Александра Владимировна увезла Толю в Сталинград, а Людмила продолжала учиться в университете.

Осенью Абарчук подошел к ней после лекции и, протянув руку, сказал:

– Здравствуй, товарищ Шапошникова.

Она молча покачала головой и спрятала руку за спину. В 1924 году была чистка студенчества по социальному происхождению. От приятельницы Людмила узнала, что Абарчук настаивал на ее исключении. Он рассказал комиссии историю своей женитьбы и причины развода. При этой чистке были исключены два товарища: Петр Князев и Виктор Штрум, их называли «неразлучниками», оба они до поступления в университет нигде не работали и даже не были в профсоюзе. За обоих исключенных стали хлопотать профессора: студенты проявляли большие способности. Лишь через три месяца Центральная комиссия отменила решение факультетской – студентов восстановили. Но Князев заболел и после выздоровления не стал продолжать занятия, уехал в провинцию – к родителям.

Людмилу во время чистки вызывали для дополнительных объяснений, и она несколько раз встречалась со Штрумом. Когда он в середине третьего семестра вновь пришел в университет, Людмила обрадовалась и поздравила его.

Они долго разговаривали в полутемной прихожей деканата, потом ели варенец в буфете, затем вышли в университетский садик и сидели на скамейке.

Штрум вовсе не был ученым сухарем, как казалось раньше Людмиле, – глаза его почти всегда смеялись и становились серьезными, когда он рассказывал смешное; он любил беллетристику, ходил в театры и не пропускал ни одного концерта. Он часто ходил в пивные, слушал цыган и был поклонником цирка.

Оказалось, что родные их были знакомы когда-то.

Зимой Людмила и Виктор Штрум ходили вместе в театры и кино «Гигант» в здании консерватории, весной ездили на Воробьевы горы и в Кунцево, катались на лодках по Москве-реке. За год до окончания университета они поженились.

Александру Владимировну поразило, что ее старинное знакомство с Анной Семеновной Штрум вдруг обновилось и закрепились в встрече молодых. Шапошникова и Анна Штрум долгое время в письмах удивлялись и радовались этому. Но молодым это старинное знакомство родителей казалось пустой, незначительной случайностью.

Со Штрумом у Людмилы Николаевны отношения сложились по-иному, чем с первым мужем. До поступления в университет он нигде не работал, да и учась в университете, не зарабатывал средств к жизни, мать посылала ему ежемесячно восемьдесят рублей, а раза три в год посылки. По этим посылкам видно было, что мать относится к сыну, как к маленькому мальчику. В фанерном ящике лежал обычно сладкий пирог с яблоками – «струдель», носки с вышитыми красными метками, белье с теми же метками, яблоки и конфеты. Людмила, казавшаяся перед первым мужем девчонкой, вдруг ощутила себя многоопытной, снисходительной. Виктор писал раз в неделю матери, и, если случался пропуск, на имя Людмилы получалась телеграмма: здоров ли Виктор?

Когда Виктор просил сделать приписку к его письму, она сердилась и говорила:

– Господи, да я своей родной матери по месяцу не пишу.

Абарчук кончил университет на год позже, его отвлекала общественная работа. Людмила постепенно забыла о своей обиде и часто интересовалась судьбой первого мужа. Он успешно работал – писал статьи, читал доклады и даже одно время занимал важный пост в Главнауке.

В начале первой пятилетки Абарчук перешел на хозяйственную работу и уехал в Западную Сибирь. Его имя иногда встречалось в газетах в связи с одним крупным строительством. Он никогда не писал ей и не спрашивал о сыне. Потом о нем ничего не стало слышно, и, когда в газетах описывался пуск промышленного комбината, строительством которого он руководил, фамилия его уже не упоминалась. А спустя год Людмила узнала, что ее бывший муж арестован как враг народа.

В 1936 году Виктор Павлович был избран членом-корреспондентом Академии наук. Вечером после избрания его поздравляли – Штрум был самым молодым из баллотировавшихся. Когда гости разошлись, остались лишь сестра Женя и ее муж Крымов. Слова, сказанные Крымовым в этот вечер, запомнились и Людмиле и Виктору Павловичу. Виктор Павлович, который ревновал Людмилу к ее первому мужу, хвастливо сказал:

– А ведь интересно проследить. Были два студента. Первый решал судьбу второго, объявил, что тот не имеет права учиться на физмате, а кончилось тем, что второй сегодня избран в академию. Спрашивается, что сделал в мире первый? Просто?

– Нет, – сказал Крымов, – напрасно вам сия история кажется такой простой. Этого первого студента мне пришлось видеть несколько раз в жизни. Однажды, в Петербурге, он вел взвод в атаку на Зимний дворец, он был полон великого огня и веры. А второй раз я видел его на Урале – его расстреливали колчаковцы, и он выполз из ямы, ночью, окровавленный, пришел к нам в ревком. И тогда он был полон великого огня и веры. Закономерность не так уж проста. Над ней стоит подумать. Этот студент, номер первый, честно вышел на работу, когда решалось революционное будущее России, а может быть, и мира. И работа ему стоила страданий и горячей крови.

– Возможно, – сказал смутившийся Штрум, – но меня он едва не съел.

– Мало ли что, – сказал Крымов.

29

Казанская квартира Штрумов была обычным эвакуационным обиталищем. В первой комнате стояли сложенные горой у стены чемоданы, туфли и ботинки выстроились в ряд под кроватью, как бы в знак того, что живут здесь странники. Из-под скатерти виднелись сосновые, плохо оструганные ножки стола. Ущелье между кроватью и столом было забито пачками книг... В комнате Виктора Павловича у окна стоял большой письменный стол, пустой, как взлетная дорожка для тяжелого бомбардировщика, – Штрум не любил безделушек на рабочем столе.

Людмила Николаевна написала родным, что, если придется им эвакуироваться из Сталинграда, пусть едут все «скопом» к ней. Она заранее наметила, где расставить раскладушки. Лишь один угол она оставила свободным. Ей казалось, что сын однажды ночью вернется с фронта и она поставит в этот угол хранящуюся в сарае Толину кровать. В ее чемодане лежали Толино нижнее белье, коробка любимых Толей шпрот. В этом же чемодане хранились перевязанные ленточкой письма Толи. Первой в связке лежала страничка детской тетради, на которой еле умещалось четыре слова: «Здравствуй мама приезжай скорей».

Ночью Людмила Николаевна часто просыпалась и лежала, охваченная мыслями о детях, страстным желанием быть с сыном рядом, прикрыть его от опасности своим телом, копать для него день и ночь глубокие окопы в камне, в глине; но она знала – это невозможно.

Ее чувство к сыну было особенным, так казалось ей, и ни одна из матерей не могла иметь такого чувства, какое имеет она. Она любила сына за то, что он не был красив, за то, что у него большие уши, неловкая походка и косолапые движения, любила за его застенчивость. Она любила его за то, что он стеснялся учиться танцам, за то, что он сопя мог съесть одну за другой двадцать конфет. Она испытывала к нему больше нежности, когда он, угрюмо опустив глаза, говорил о плохих отметках по литературе, чем в те минуты, когда он, по ее настоянию, смущенно морщась и бормоча «ерунда», показывал работы по физике и тригонометрии с неизменной высшей оценкой.

В довоенную пору муж сердился, что она освобождала сына от домашних поручений, позволяла ежедневно ходить в кино.

– Я не так воспитывался, я не знал тепличных условий, – говорил он, искренне забывая, что и его в детстве мать баловала и оберегала не меньше, чем Людмила баловала Толю.

Хотя в сердитые минуты Людмила Николаевна говорила, что Толя не любит отчима, она видела, что это не так.

Интерес Толи к точным наукам определился резко и сразу; он не любил беллетристики, был равнодушен к театру. Как-то незадолго до начала войны Штрум застал Толю танцующим перед зеркалом. В шляпе, галстук и пиджаке отчима он танцевал и снисходительно кому-то улыбался, милостиво кланялся.

– Мало я его знаю, – сказал Людмиле Виктор Павлович.

Надя, худая, высокая, сутулая девочка, была очень привязана к отцу. Когда-то она, десяти лет, зашла с матерью и отцом в магазин. Людмила Николаевна выбрала плюш для портьер и попросила Виктора Павловича сосчитать, сколько ей нужно взять метров. Штрум стал множить длину на ширину и на число портьер и тотчас же запутался. Продавщица, снисходительно улыбнувшись, в несколько секунд произвела расчет и сказала ужасно смутившейся за отца Наде:

– Твой папа, видно, плохой математик.

С тех пор Надя в глубине души подозревала, что отцу не легко дается его математическая работа, и однажды, глядя на листы рукописи, исписанные сверху донизу значками и формулами, часто перечеркнутыми и исправленными, с состраданием сказала: «Бедный наш папа».

Людмила Николаевна иногда видела, как Надя заходила к отцу в кабинет и на цыпочках подкрадывалась к его креслу, легонько прикрывала его глаза ладонями; он сидел несколько мгновений неподвижно, потом обнимал дочь и целовал ее. По вечерам, когда бывали гости, Виктор Павлович внезапно оглядывался на наблюдавшие за ним два больших внимательных и грустных глаза. Читала Надя много и очень быстро, но невнимательно. Иногда она становилась странно рассеянна, задумывалась, отвечала невпопад; однажды, идя в школу, она надела носки разного цвета, и после этого случая домашняя работница говорила: «Наша Надя немного малахольная».

Когда Людмила спрашивала Надю: «Кем ты хочешь быть?» – она отвечала: «Не знаю. Никем».

С братом она была очень не сходна, и в детстве они постоянно ссорились. Надя знала, что Толю легко дразнить, и всячески терзала его; он, сердясь, таскал ее за косы, она после этого ходила злая, надутая, но мужественно, сквозь слезы, продолжала дразнить его то «любимчиком», то странным, приводившим его в бешенство прозвищем «поросятник».

Но незадолго до войны Людмила Николаевна заметила: наступил мир между детьми. Она как-то рассказала знакомым, двум пожилым женщинам, об этом изменении, и обе в один голос сказали: «Возраст» – и многозначительно, грустно улыбнулись.

Как-то Надя, возвращаясь из распределителя, встретила у дверей почтальона, принесшего треугольное письмецо, адресованное Людмиле Николаевне. Толя писал, что наконец-то сбылось его желание, он окончил военную школу и едет, по-видимому, в сторону того города, где живет бабушка.

Людмила Николаевна не спала полночи, лежала, держа письмо в руке, зажигала свечу, медленно перечитывала, слово за словом, будто в коротких торопливых строчках можно было разгадать судьбу сына.

30

Профессора Штрума вызвали из Казани в Москву. Одновременно получил вызов живший в казанской эвакуации знакомый Штрума, академик Постоев. Виктор Павлович, прочитав телеграмму, взволновался: не совсем было ясно, по какому поводу и кто именно приглашает его, но он решил, что речь идет о его плане работ, до сих пор не получившем утверждения.

План был обширный, и разработка некоторых названных в нем отвлеченных проблем требовала больших средств.

Утром Штрум встретился со своим другом и советчиком Петром Лаврентьевичем Соколовым, показал ему телеграмму. Они сидели в маленьком кабинете рядом с учебной университетской аудиторией и обсуждали все «за» и «против» в разработанном зимой плане.

Петр Лаврентьевич был моложе Штрума на восемь лет. Незадолго перед войной он получил докторскую степень, первые же его работы вызвали интерес в Советском Союзе и за границей.

В одном французском журнале были помещены его фотография и небольшая биографическая статья. Автора статьи удивляло, что молодой волжский кочегар окончил колледж, затем столичную высшую школу и занимается теоретическими обоснованиями одной из самых сложных областей физики.

Небольшого роста, белокурый, лобастый, с большой, массивной головой и с широкими плечами, Соколов внешне казался полной противоположностью узкоплечему темноволосому Штруму.

– А планы вряд ли утвердят полностью, – сказал Соколов, – вы ведь помните разговор с Иваном Дмитриевичем Суховым. Да и мыслимо ли теперь изыскивать сорт стали, пригодный для нашей аппаратуры, когда металлургия качественных сталей с таким напряжением выполняет оборонные заказы. Все это требует опытных плавок, а в печах варят сталь для танков и орудий. Кто же нам утвердит такую работу, кто будет вести плавки ради нескольких сотен килограммов металла?

– Я это прекрасно понимаю, – сказал Штрум, – но ведь Иван Дмитриевич уже два месяца назад покинул директорское кресло. А насчет нужной нам стали вы правы, конечно, но это ведь общие рассуждения. Да и, кроме того, ведь академик Чепыжин одобрил общее направление работы. Ведь я читал вам его письмо. Вы, Петр Лаврентьевич, часто пренебрегаете конкретными обстоятельствами.

– Нет уж, простите, Виктор Павлович, не я, а вы ими пренебрегаете, – сказал Соколов, – уже конкретней не скажешь: война!

Оба были взволнованы и спорили о том, что следует говорить Штруму, если план работы будет оспариваться в Москве.

– Я не собираюсь вас учить, Виктор Павлович, – говорил Соколов, – но в Москве много дверей, а вы не знаете, в какую именно надо постучать.

– Уж ваша опытность известна, – сказал Штрум, – вы до сих пор ухитрились не получить лимита и прикреплены к худшему в Казани распределителю научных работников.

Они всегда обвиняли друг друга в житейской непрактичности, когда хотели сказать приятное.

Соколов подумал, что дирекции института следовало позаботиться о лимите для него – сам он из гордости никогда не будет об этом просить. Но он, конечно, не сказал об этом и пренебрежительно качнул головой:

– Вы ведь знаете, насколько такие вещи для меня безразличны.

Разговор перешел на то, как будет вестись работа в отсутствие Штрума.

Днем сотрудник хозяйственной части горсовета, рябой мужчина в синих галифе, удивленно и недоверчиво оглядел Штрума, вручил ему пропуск и билет на завтрашний скорый поезд. Штрум, сутулый, худой, с такой взъерошенной шевелюрой, словно он не занимался сложными вопросами физики, а писал музыку для цыганских романсов, совсем не походил на профессора. Штрум сунул билет в карман и, не спросив, когда идет поезд, стал прощаться с сотрудниками.

Он обещал передать общий привет и отдельные приветствия старшей лаборантке Анне Степановне, оставшейся в Москве с частью институтского оборудования, выслушал женские восклицания: «Ах, Виктор Павлович, как я вам завидую – послезавтра вы будете в Москве» – и под общий шум: «Счастливого пути, ни пуха ни пера, возвращайтесь скорей» – отправился домой обедать.

По дороге домой Штрум все думал о неутвержденном плане, вспоминал свою зимнюю встречу с директором Иваном Дмитриевичем Суховым, приехавшим в декабре из Куйбышева в Казань.

Сухов при этой встрече был необычайно любезен, тряс Штруму обе руки, расспрашивал о здоровье, о родных, о бытовых условиях. Но тон у него был такой, словно он приехал не из Куйбышева, а из окопов переднего края и разговаривает со слабым и робким гражданским лицом.

К плану работ, предложенному Штрумом, он отнесся отрицательно.

Ивана Дмитриевича обычно мало интересовала суть дела, но его горячо занимали многие побочные обстоятельства. Он обладал узким практическим жизненным опытом, помогавшим угадывать, что ближайшие его начальники, от которых зависят успехи и положение Сухова, считают важным и нужным. Ему случалось жестоко обрушиваться сегодня на то, к чему вчера относился он с горячей симпатией.

Когда люди начинали невпопад, совершенно не зная дипломатической ситуации, кипиться и спорить, они ему казались наивными и совершенно не понимающими, что к чему.

Он в разговорах подчеркивал, что в его отношении к делам и к людям нет ничего личного, для него важен лишь интерес общий. Но он никогда не задумывался над одной странностью – он всегда гармонично соединял свои взгляды и их внезапное изменение с успехами своей частной жизни.

– Иван Дмитриевич, – сказал ему Виктор Павлович, когда они заспорили о плане работ, – откуда мы грешные, вы да я, можем знать, что в научных изысканиях важно народу? Вся история науки... и я вообще не властен над теми чувствами, которыми живу с детских лет. Я вам расскажу, когда мне купили в детстве аквариум...

Он оглянулся на сострадательное, улыбающееся лицо Сухова, запнулся и проговорил:

– Это не имеет отношения к делу, простите, впрочем, именно это и имеет отношение к делу, как это ни странно.

– Я прекрасно вас понимаю, – сказал Иван Дмитриевич, – но поймите и вы: аквариум тут ни при чем, речь идет о вещах более важных, чем аквариум. Сейчас не время заниматься теоретическими вопросами.

Штрум обиделся и почувствовал, что через минуту вспылит и не сможет контролировать свои слова.

И действительно, он вспылит и не смог контролировать свои слова.

– Физикой, плохо ли, хорошо, занимаюсь я, – резко сказал он, – почему же вы, чиновник, поучаете меня? Это, согласитесь, трудно понять.

Он увидел, как покраснел Иван Дмитриевич, как неодобрительно нахмурились все присутствующие. Он подумал: «Теперь уже не попрошу, чтобы он ходатайствовал в Татсовнарком о лучшей квартире...» Его удивило, что Иван Дмитриевич не возмутился, а, наоборот, глаза

его стали виноватыми, ресницы заморгали, как у собравшегося плакать мальчика. Но это длилось секунду, затем Иван Дмитриевич сказал:

– Вам, по-видимому, надо отдохнуть, у вас нервы не в порядке, – а затем добавил: – Что касается вашего плана, могу повторить лишь то, что сказал вам: мне кажется, он не отвечает современным запросам, я буду возражать против него.

Из Казани Сухов поехал обратно в Куйбышев, а затем в Москву. Там он прожил полтора месяца и сообщил телеграммой, что скоро приедет в Казань.

Но в Казань он не приехал – Сухова вызвали в Центральный Комитет, жестоко раскритиковали методы его работы, сняли с должности и послали преподавать в Барнаульский институт сельскохозяйственного машиностроения. Временно Сухова замещал молодой кандидат наук Пименов, когда-то работавший у Штрума аспирантом. Вот о предстоящей в Москве встрече с ним и думал Штрум, шагая по казанской улице.

31

Людмила Николаевна встретила мужа в передней и, снимая щеткой с его плеч казанскую пыль, стала расспрашивать о тех обстоятельствах поездки, которые всегда интересуют жен, стоящих на страже величия своих мужей.

Она спросила, кто прислал телеграмму, обещана ли машина для поездки на вокзал, в какой вагон даны билеты – мягкий, международный или в жесткий плацкартный. Усмехнувшись, она сказала, что профессору Подкопаеву, с чьей женой она была в плохих отношениях, телеграммы не прислали. Потом она, сердито махнув рукой, добавила: «Все это такие пустяки, а в голове молот день и ночь стучит: «Толя, Толя, Толя...»

Надя вернулась домой поздно, она была в гостях у своей подруги Аллы Постоевой.

Штрум слышал по звуку легких и осторожных шагов, что в комнату вошла дочь, и подумал: «Какая она худенькая, села на скрипучий диван – и пружина не скрипнула». Не поворачивая головы, он сказал:

– Добрый вечер, дочка, – и продолжал быстро писать. Она не ответила.

Прошло довольно много времени в молчании, и Штрум, снова не поворачиваясь, спросил:

– Ну, как там Постоев, пакует чемодан?

И опять Надя не ответила ему. Штрум постучал пальцем по столу, словно призывал кого-то к тишине. Ему хотелось закончить до отъезда одно математическое рассуждение, так как он знал, что, незаконченное и непроверенное, оно будет его тревожить в дороге, – в Москве же вряд ли будет время сосредоточиться. Казалось, он совсем забыл о дочери, но вдруг повернулся к ней и сказал:

– Ты чего сопишь, сопуха?

Она, глядя на него сердитыми глазами, быстро проговорила:

– Не хочется мне в колхоз на полевые работы ехать на август. Алка Постоева никуда не едет, а мама без меня меня женила, была в школе и записала и даже меня не спросила. Приеду к сентябрю – и сразу занятия, а девочки говорят, кормят-то в колхозе не очень, а работы столько, что и купаться в речке редко успевали.

– Ладно, ладно, иди спать, ничего нет страшного, – сказал Штрум.

– Конечно, страшного ничего, – сказала Надя и пожала сперва одним плечом, потом другим, – но ты-то небось в колхоз сам не поедешь. – И насмешливым голосом добавила: – Ох уж этот мне сознательный папа, сам-то он в Москву едет.

Она поднялась и, уже стоя в дверях, сказала:

– Да, Ольга Яковлевна рассказывала, она возила вечером подарки раненым на вокзал, и вдруг в одном санитарном поезде оказался Максимов; он был два раза ранен и теперь едет в Свердловск, выйдет из госпиталя – и снова займет кафедру в МГУ.

– Какой Максимов? Обществовед? – спросил Штрум.

– Да нет же, боже мой, наш дачный сосед, биохимик, ну вот что чай у нас пил на даче перед самой войной, понял? – сказала Надя.

Штрум взволновался.

– Может быть, поезд еще на станции? Мы немедленно поедem с мамой.

– Нет, ушел, – сказала Надя. – Постоиха зашла к нему в вагон – уже звонок был. Он и рассказать ничего не успел.

А поздно ночью перед сном Штрум поссорился с женой. Показывая на худые, загорелые руки спящей Нади, он сказал, что напрасно Людмила настаивает на Надиной поездке в колхоз, пусть лучше перед трудной зимой отдохнет.

Людмила Николаевна ответила, что в Надином возрасте все девочки худые, и она была худее Нади, и что есть тысячи семей, где школьники летом работают на производстве, а в деревнях участвуют в тяжелых работах.

Виктор Павлович сказал:

– Я говорю о том, что девочка худеет, а ты начинаешь мне рассказывать бог весть о чем. Ты посмотри, какие у нее ключицы, и губы бледные, малокровные. Настаиваешь ты по каким-то для меня совершенно непонятым соображениям. Приятней тебе, что ли, когда тяжело приходится обоим детям. Мне это непонятно.

Людмила Николаевна посмотрела на него ставшими молодыми и светлыми от горя глазами и сказала холодно:

– Толина судьба тебя мало волнует.

– Не надо, не надо, прости, – сказал Штрум.

Они часто спорили, а иногда и ссорились, но ссоры их не были продолжительны.

Виктор Павлович не задумывался о своих отношениях с женой. Они вступили в ту полосу, когда долголетняя привычка друг к другу как бы стирает значительность и важность этих отношений, якобы тускнеющих в повседневности. Их отношения вступили в ту полосу, когда лишь жизненные потрясения вдруг делают понятным, что долголетняя и повседневная близость и привычка, собственно, и являются тем значительным и в истинном, высоком смысле поэтичным, что связывает двух людей, рядом идущих от молодости до седых волос. И Виктор Павлович никогда не замечал того, над чем обычно посмеивались его домашние. Приходя домой, он первым делом спрашивал у детей:

– Мама дома?.. Как, нет дома?.. Где она?.. Скоро придет?

Когда же Людмила Николаевна опаздывала, он бросал работу, охал, бродил по квартире, собирался искать ее, снова спрашивал:

– Куда же она пошла, какой дорогой, как себя чувствовала, уходя? И зачем ходить в те часы, когда столько машин и троллейбусов!

Но как только Людмила Николаевна приходила домой, Штрум сразу же успокаивался, садился за стол работать и на все ее вопросы рассеянно говорил:

– А? Что? Не мешай мне, пожалуйста, я работаю.

Все это умела очень смешно показывать на кухне Толе и домашней работнице Варе Надя, у которой, как у большинства склонных к задумчивости и молчаливых людей, бывали минуты особенной, всех заражающей веселости. Толя хохотал, а Варя вскрикивала: «Ой, не могу, ну точно, точно Виктор Павлович».

Виктор Павлович знал еще одно неизменное чувство. Оно освещало внутренний мир его. Где-то в глубине души постоянно ощущал он спокойный, грустный свет, сопутствовавший ему всю жизнь, – любовь матери.

32

Людмила Николаевна не любила родственников Виктора Павловича и неохотно с ними встречалась. Родственники Виктора Павловича делились на преуспевающих – их было мало – и на таких, о которых говорилось в прошедшем времени: «Он был знаменитым присяжным поверенным, жена его считалась первой красавицей в городе», «Он когда-то гремел на юге, чудесно пел». Виктор Павлович встречал своих родичей ласково и с интересом разговаривал о всяких семейных событиях, причем эти старые люди, вспоминая прошлое, говорили с ним даже не о своей давно прошедшей молодости, а о каких-то совершенно мистических временах, когда были молоды родственники еще более старого поколения.

Людмила Николаевна никак не могла разобраться в этой сложной родне: кузины, двоюродные кузины, старые тетки и дядьки...

Муж говорил ей:

– Ну как же ты не можешь понять, чего проще: Мария Борисовна – вторая жена Осипа Семеновича, а Осип Семенович – сын покойного дяди Ильи, я ведь говорил тебе о нем, он был страстный картежник, родной брат покойного отца. А Вероника Григорьевна – племянница Марии Борисовны, то есть дочь родной сестры ее, Анны Борисовны. Она теперь замужем за Петром Григорьевичем Мотылевым. Вот и все.

Людмила Николаевна отвечала:

– Нет, уж прости, такие вещи можешь понять ты да немного Эйнштейн, а я дура, я этого не разбираю.

Виктор Павлович был единственным сыном Анны Семеновны Штрум: она овдовела, когда сыну было пять лет.

Окончив университет, она жила в Киеве, работала в клинике у известного профессора, специалиста по глазным болезням.

В Киеве Анна Семеновна одно время встречалась с Ольгой Игнатьевной Бибиковой, вдовой капитана дальнего плавания. Капитан навез Ольге Игнатьевне множество подарков из дальних стран; коллекции бабочек, ракушек, точенные из кости и высеченные из камня фигурки. Анна Семеновна, вероятно, не знала, что для ее сына эти вечерние хождения к Ольге Игнатьевне значат больше, чем занятия в школе и с учительницами языков и музыки.

Особенно привлекала Витю коллекция мелких ракушек, собранных на побережье Японского моря: золотистых и оранжевых – закаты маленького солнца; голубоватых, зеленых, молочно-розовых – рассвет на маленьком море. Их формы были необычайны – тонкие шпаги, кружевные шапочки, лепестки вишневого цвета, известковые звездочки и снежинки. А рядом стоял застекленный ящик с тропическими бабочками, еще более яркими – клубы фиолетового дыма, языки красного пламени застыли на их огромных резных крыльях. Мальчику казалось тогда, что ракушки подобны бабочкам, они летают под водой, среди водорослей, при свете то зеленого, то голубого подводного солнца.

Он увлекся гербариями, коллекциями насекомых, ящики его стола и карманы всегда были полны образцами минералов и металлов.

Кроме коллекций, у Ольги Игнатьевны имелись два больших аквариума. Среди подводных рожиц и лесов паслись рыбки, по красоте своей равные бабочкам и океанским раковинам: сиреневые, перламутровые, с кружевными плавниками – гурами; макроподы – с лукавыми кошачьими мордочками, в красных, зеленых и оранжевых полосах; стеклянные окуни – сквозь прозрачные, слюдяные тельца их просвечивались темные пищеводы и скелетики; пучеглазые телескопы, розовые вуалехвосты – живые картофелины, заворачивающиеся в длинные, тончайшие, как папиросный дым, хвосты.

Анне Семеновне хотелось баловать сына и одновременно привить ему суровую привычку к обязательному, длительному каждодневному труду. Иногда он казался испорченным, избалованным, ленивым. «Taugenichts!» («Бездельник!») – кричала ему мать, когда он приносил дурные отметки. Он любил читать, но иногда не было силы, которая могла бы его заставить раскрыть книгу. Пообедав, он убегал во двор и возвращался вечером возбужденный, тяжело дыша, точно за ним гнались до самых дверей волки. Жадно и быстро он съедал ужин и ложился в постель, мгновенно засыпал. А однажды она, стоя у окна, слышала, как ее застенчивый слабенький сын кричал во дворе: «Скотина, я тебя кирпичом по сопатке стукну», и произносил он по-босаячки – «кэрпич», а не «кирпич».

Однажды мать ударила его: он обманул ее, сказав, что идет к товарищу готовить уроки, и, взяв из ее сумки деньги, отправился в кинематограф. Ночью мальчик проснулся, точно суровый, долгий материнский взгляд толкнул его, приподнявшись на колени, обнял ее за шею. Она отстранила его.

Мальчик выросл, менялся внешне, менялась его одежда. И вместе с его внешностью, толщиной костей, голосом, одеждой менялся его внутренний мир, привязанности, менялась любовь к природе.

К пятнадцати годам он увлекся астрономией, добывал увеличительные стекла – из них он комбинировал небесную трубу.

В нем постоянно шла борьба между жадой жизненной практики и интересом к абстракции, к чистой теории. По-видимому, в ту пору он бессознательно старался примирить эти два мира – интерес к астрономии был связан с мечтами об устройстве обсерватории в горах, открытие новых звезд связывалось в его мечтах с опасными и трудными путешествиями. Противоречие между жадой жизненного действия и абстрактным складом его ума сидело в нем где-то очень глубоко; с годами лишь он нащупал, понял это.

В детстве было жадное любование предметами: он раскалывал молотком камни, гладил гладкие грани кристаллов, изумлялся, ощущая тяжесть ртути и свинца. Ему недостаточно было наблюдать рыбку в аквариуме, и он, засучив рукав, ловил ее, осторожно держал ее, не вынимая из воды. Ему хотелось уловить чудный, яркий мир предметов в сети осязания, зрения, обоняния.

А в семнадцать лет он волновался, читая книги по математической физике, где на страницу текста приходилось десять – пятнадцать бледных связующих слов: «и следовательно», «и далее», «таким образом» – и где весь пафос и мощь мышления выражались дифференциальными уравнениями и преобразованиями, необходимыми и в то же время неожиданными.

В эту пору у Штрума завязалась дружба со школьным товарищем Петей Лебедевым, увлекавшимся математикой и физикой; он был на полтора года старше Штрума. Они вместе читали книги по физике, мечтали совместно произвести открытия в области строения вещества. Но Лебедев, выдержав приемные испытания в университет, ушел с комсомольским отрядом на фронт и вскоре был убит в бою где-то под Дарницей. Судьба Лебедева потрясла Штрума: он неотступно думал о своем друге, который предпочел путь солдата революции работе ученого.

Спустя год Штрум поступил на физико-математический факультет Московского университета. Его увлекли работы, посвященные ядерным и электронным энергетическим законам.

Поэзия самой глубокой тайны природы была велика. На темном экране вспыхивали фиолетовые огоньки-звездочки; невидимые частицы, проносясь, оставляли после себя туманные кометные хвосты сгустившегося пара; стройная стрелка тончайшего электрометра вздрагивала, отмечая потрясение, которое вызывали невидимые дьяволы, наделенные безумной скоростью и силой. Великие силы бурлили под поверхностью материи. Эти вспышки на темном экране, показания масс-спектрографа, разгадывающего заряд атомного ядра, потемнение фотографической пластинки – все это были первые разведчики гигантских сил, ворочающихся

во сне и вновь притихающих... Страстно хотелось пробудить эти силы, заставить их взречь, выйти из тьмы берлоги.

Обратимый переход через грань, отделяющую и связывающую вещество с квантами энергии, в рамках одного математического преобразования! Сказочная по сложности и по грубой простоте принципа опытная аппаратура – мост между высоким каменистым берегом обычных представлений и ощущений и скрытой в глухом тумане областью ядерных сил.

Но удивительно, но странно! Именно в этом глухом царстве квантов и протонов была высокая материальная сущность мира.

Учась в университете, Штрум вдруг объявил матери, что научные занятия его не удовлетворяют, и поступил рабочим на Бутырский химический завод, в самый тяжелый краскотерочный цех. Зимой он учился и работал, а летом не поехал на каникулы, продолжая работать на заводе. Казалось, он совершенно и весь изменился. Но чувство, которое испытывал в детстве Штрум, наблюдая и преследуя возникавших, подобно чуду, в густой, зеленой воде рыбешек, вновь и вновь приходило каждый раз, когда среди противоречивых рассуждений, среди неточных опытов, толкающих иногда к верным выводам, среди тончайших опытов, ставивших иногда исследователя в тупик перед стеной нелепости, он вдруг ощущал догадку, подобную сверкнувшему и схваченному рукой чуду.

Ныне материя не осязалась, не была видима, но реальность бытия ее, реальность атомов, нейтронов, протонов была не менее яркой, чем реальность бытия земли и океанов.

Казалось, он достиг того, о чем мечтал в юности. И все же его не оставляла душевная неудовлетворенность. Минутами ему представлялось, что главный поток жизни идет мимо него, и ему хотелось слить воедино, соединить свою кабинетную работу с тем делом, которое творилось на заводах, в шахтах, на стройках страны, создать тот мост, который соединил бы разрабатываемую им физическую теорию с благородным и тяжелым трудом миллионов рабочих. Он вспоминал друга далеких детских лет в красноармейском шлеме, с винтовкой за плечом – и воспоминание это обжигало его, будоражило.

33

Большую роль в жизни Штрума сыграл его учитель Дмитрий Петрович Чепыжин.

Ученый с мировым именем, один из выдающихся русских физиков, широкоплечий, большерукий, широколобый, он напоминал пожилого кузнеца-молотобойца.

Пятидесяти лет он с помощью двух своих сыновей-студентов срубил бревенчатый загородный дом, сам обтесывал тяжелые бревна, сам выкопал колодец возле дома, построил баню, проложил дорогу в лесу.

Он любил рассказывать об одном деревенском старике – Фоме неверующем, который все сомневался в его плотничьих способностях. Однажды этот старик будто бы хлопнул его по плечу, признав в нем своего брата, умелого труженика, и, перейдя на «ты», лукаво сказал:

– Слышь, Петрович, приходи ко мне – сарай мне поставишь, рассчитаемся с тобой без обиды.

Жить в летние месяцы в этом загородном доме Чепыжин не любил и обычно вместе со своей женой Надеждой Федоровной отправлялся в далекие двухмесячные путешествия. Они побывали в дальневосточной тайге и на тянь-шаньских высотах возле Нарына, и на берегу Телецкого озера возле Ойрот-Туры, и на Байкале и спускались на весельной лодке до Астрахани по Москве-реке, Оке и Волге, исходили Брянские леса от Карачева до Новгород-Северского и Мещерские леса за Рязанью. Обычай этот завели они со студенческих времен и сохранили неизменно и в ту пору, когда людям, кажется, уж более подходит отдыхать в санаториях и на дачах, а не шагать лесными и горными дорогами с зелеными мешками за плечами. Во время этих путешествий Дмитрий Петрович вел подробный дневник.

В этом дневнике был специальный раздел – «лирический», посвященный красоте природы, закатам и восходам солнца, летним грозам в горах, ночным лесным бурям, звездным и лунным ночам. Но описания эти Дмитрий Петрович читал только жене. Охоты и рыбной ловли Чепыжин не любил.

Когда осенью, вернувшись из путешествия, он председательствовал на заседаниях в Институте физики либо сидел в президиуме на сессии Академии наук, странно выглядело его лицо среди лиц седовласых коллег и сидящих учеников, побывавших летом в Барвихе, в Узком либо на своих подмосковных, лужских и сестрорецких дачах. Темноволосый, почти без седины, он сидел, насупив суровые брови, подпирая большую голову жилистым, коричневым кулаком, поглаживая ладонью другой руки свой широкий подбородок и худые щеки с въевшимся в них загаром. Такой жестокий загар метит обычно лицо, шею, затылок людей тяжелой жизни, тяжелого труда: рабочих на торфоразработках, солдат, землекопов. Это загар людей, редко спящих под крышей, загар не только от солнца, но и ночной загар, рожденный палящим ночным ветром, заморозками, предрассветным холодным туманом. В сравнении с Чепыжиным болезненные старики с мягкими седыми волосами, с молочно-розовой кожей, прочерченной синими жилками, казались старыми голубоглазыми барашками и ангелочками рядом с широколобым бурым медведем.

Штрум помнил свои юношеские разговоры с покойным Лебедевым о Чепыжине.

Лебедев мечтал встретиться с Чепыжиным. Ему хотелось работать под его руководством и в то же время спорить с ним о философских выводах физической науки.

Но Лебедеву не пришлось учиться физике у Чепыжина, не пришлось с ним поспорить.

Удивляло людей, знавших Дмитрия Петровича, не то, что он любил бродить по лесам, работать топором и лопатой, что он писал стихи и увлекался живописью. Удивляло и восхищало то, что при широчайшем круге жизненных интересов, при множестве своих увлечений Дмитрий Петрович был человеком, одержимым одной страстью. Люди, хорошо знавшие его – жена, близкие друзья, – понимали, что все его увлечения имели единую основу. Эта единая

основа состояла в том, что любовь к русским лесам и полям, и собирание картин Левитана и Саврасова, и дружба со стариками крестьянами, приезжавшими к нему в гости в Москву, и огромные усилия, положенные им в свое время на организацию московских рабфаков, и интерес к старинным народным песням, и постоянный интерес к работе новых отраслей промышленности, и страстная любовь к Пушкину и Толстому, и даже трогательная, смешившая некоторых, забота о живших в его доме обитателях родных лесов и полей – еже, синицах, снегирях, – все, все это было единой основой, на которой единственно и могло существовать казавшееся надземным здание его науки.

Весь мир человеческой абстрактной мысли, поднявшейся на огромную высоту, откуда, казалось, не только нельзя было различить моря и континенты, но и самый шар земли, весь этот мир прочно, корнями, ушел в родную землю, от нее питался живыми соками и, вероятно, без нее не мог бы жить.

В людях, подобных Чепыжину, живет простое и сильное чувство, пришедшее в самые ранние годы отрочества. Это чувство, сознание единой жизненной цели, чувство, сознание, с которым человек проходит через жизнь до седых волос, до последнего дня. Это то чувство, что описал Некрасов в своих стихах «На Волге», вспоминая о мальчике, увидевшем бурлаков, «...какие клятвы я давал...»; это чувство, которое потрясло на Воробьевых горах подростков Герцена и Огарева.

Но некоторым людям главное чувство цели кажется наивным пережитком, случайно и ненужно сохранившимся. Ощущения и мысли, связанные с каждодневной мелочной суетой, заполняют их духовный мир; такие люди не склонны к душевным преобразованиям, которые, подобно математическим, сокращают случайные величины, усложняющие, но не определяющие сущность явлений, они не склонны сокращать, отбрасывать, пренебрегать тем, чем можно и должно пренебречь. Многие люди подчинены поверхностной пестроте жизни. Они не ощущают единства в этой пестроте. Эти люди лишь в роковой час судьбы, лишь под самый конец жизни вдруг ощущают незначительность быстро вянущей, изменчивой и случайной суеты, вновь видят то самое простое и самое важное, что им представлялось наивным либо недостижимым. Это то, что люди называют: «подойдя к концу жизни, он вдруг понял», «оглянувшись назад, увидел и тогда понял...». Такие люди часто пожидают малые, но сытные успехи. Но такие люди никогда не могут выиграть большую битву с жизнью, как не может победить полководец, не имеющий плана, не воодушевленный любовью к народу, не имеющий благородной и простой цели в войне, которую он ведет, – его боевая суета может отбить у врага город, опрокинуть полк, дивизию, но не ведет к стратегической победе. Часто позднее понимание различия важного и пустого уже не служит руководством к жизненному действию. Оно приходит в пору, когда человек подводит итог своих случайных жизненных обстоятельств и действий и произносит горькие, но не имеющие значения для дальнейшего его существования слова: «О, если б я снова начал жизнь».

Есть натуры и характеры, для которых это простое, юношески ясное, лежащее в глубине души и сознания чувство и представление о смысле и цели жизни является руководством к действию, определяет поступки, решения, планы, всю жизнь человека. Такие натуры и характеры сравнительно часто оставляют по себе след в человеческом обществе, их труд, их мысль направлены на творчество и борьбу, а не на мелкие дела, не на молекулярные движения, подчиненные сегодня только интересам сегодняшнего, а завтра, когда исчезнут сегодняшние интересы, – интересам завтрашнего дня.

Простое чувство: «я хочу, чтобы людям труда жилось свободно, счастливо, богато, чтобы общество было устроено свободно и справедливо» – лежало в основе многих замечательных жизней революционных борцов и мыслителей.

Число примеров можно расширить, охватить ими деятелей точной науки, путешественников, садоводов, строителей, оросителей пустынь. Этим ясным, юношески чистым чувством

и знанием великой цели наделены многие и многие советские люди, строители нового мира – рабочие, колхозники, инженеры, ученые, учителя, врачи... Они сохраняют его до седых волос.

Штрум навсегда запомнил первую лекцию Чепыжина, его густой, чуть-чуть сипловатый голос, то учительски снисходительный и неторопливый, то вдруг быстрый и страстный; голос, точно принадлежащий политическому агитатору, а не профессору, излагающему физическую теорию студентам университета. Формулы, которые он писал на доске, тоже не были бесстрастными выражениями новой механики невидимого мира сверхэнергий и сверхскоростей, а казались призывами и лозунгами – мел скрипел и сыпался, иногда он постреливал, когда рука профессора, привыкшая не только к перу и тонким кварцевым и платиновым приборам, но и к топору и лопате, с размаху, как гвоздь, вбивала точку либо выводила лебединую шею интеграла. Эти формулы напоминали фразы, полные человеческого содержания, фразы, говорящие о сомнении, вере, любви. И Чепыжин подчеркивал это чувство, расставляя, точно в листовке либо в страстном личном письме, знаки вопроса, многоточия, победные восклицательные знаки. Больно стало, когда после лекции дежурный начал стирать с доски все эти радикалы, интегралы, дифференциалы, тригонометрические обозначения, греческие альфы, дельты, эпсилон, кси, объединенные умом и волей человека в боевую дружину. Казалось, эту доску надо сохранить, как сохраняют ценные рукописи.

И хоть много лет прошло с тех пор, и самого Штрума уже слушали студенты, и он сам писал мелом на черной доске, чувство, которое он испытывал, слушая первую лекцию своего учителя, неизменно жило в нем.

Каждый раз, входя в кабинет к Чепыжину, Штрум волновался, а вернувшись из института, по-ребячьи хвастливо докладывал домашним либо друзьям: «Сегодня гуляли с Чепыжиным, дошли до Шаболовской радиостанции...», «Чепыжин пригласил нас с Людмилой на встречу Нового года... Дмитрий Петрович считает, что моя лаборатория работает в правильном направлении...».

Штруму запомнился один разговор с Крымовым по поводу Чепыжина. Это было за несколько лет до войны. Крымов приехал с Женей на дачу после многодневной, напряженной работы.

Людмила уговорила его снять суконную гимнастерку, надеть пижаму Виктора Павловича. Крымов сидел в тени цветущей липы с блаженным выражением лица, которое всегда приходит к людям, приехавшим за город и после долгих часов, проведенных в жарких, прокуренных комнатах, вдруг испытавшим простое и полное физическое счастье оттого, что в мире есть душистый, свежий воздух, холодная колодезная вода, шум ветра в ветвях сосен.

Штруму запомнилось это выражение счастья на утомленном лице Крымова, – казалось, ничто не могло заставить его выйти из состояния покоя. И, должно быть, именно поэтому поразила Штрума внезапная перемена, происшедшая с Крымовым, едва разговор о прелестях клубники с сахарным песком и холодным молоком перешел на «городские» темы.

Штрум сказал о том, что накануне видел Чепыжина и тот рассказывал ему о задачах новой лаборатории, организованной в Институте физики.

– Да, грандиозный ученый, – сказал Крымов, – но там, где он отходит от своих работ по физике и пытается философствовать, он, случается, противоречит самому себе как физику, не разбирается в марксистской диалектике.

Людмила Николаевна сразу вспыхнула и набросилась на Крымова:

– Да как вы можете в таком тоне говорить о Чепыжине?

А Крымов, словно не он только что благодушествовал под цветущей липой, нахмурился и сказал:

– Уважаемый товарищ Люда, в подобном случае разговор у революционного марксиста один – будь то отец родной, Чепыжин либо сам Ньютон.

Штрум знал, что Крымов прав, не раз и покойный Лебедев говорил о том же.

Но и его рассердил резкий тон Крымова.

– Знаете, Николай Григорьевич, – сказал он, – в своей правоте вам следует все же задуматься, почему такие люди, столь несовершенные в теории познания, так сильны в самом познании.

Крымов сердито посмотрел на него и проговорил:

– Это не довод в философском споре. Вы отлично понимаете, что история науки знает примеры, когда ученые в своих лабораториях являются стихийными проповедниками диалектического материализма, его последователями, его сыновьями, они беспомощны и бессильны при малейшем отступлении от него... Но едва эти же люди начинают вырабатывать свою доморощенную философию, они этой кустарной философией не могут объяснить явлений жизни, сами того не понимая, борются против своих собственных замечательных научных достижений. Я непримирим потому, что люди, подобные вашему Чепыжину, их замечательные труды дороги мне не меньше, чем вам.

Проходили годы, а связи Чепыжина со своими учениками, переходившими к самостоятельной научной работе, не ослабевали. Это была рабочая, живая, свободная, демократическая связь, объединявшая учителя с учениками крепче, сильнее, чем любые другие скрепы и связи, придуманные и созданные человеком.

34

В день отъезда в Москву утро выдалось прохладное и ясное.

Виктор Павлович, поглядывая в раскрытое окно, слушал последние наставления Людмилы.

Людмила Николаевна втолковывала мужу, в каком порядке разложены вещи в чемодане, куда положены пакетики яичного порошка, пиретрум, стрептоцид, старые газеты на завертку папирос из самосада, какие продукты следует есть в первую очередь, какие оставить под конец путешествия, просила привезти обратно пустые баночки и бутылки – в казанской эвакуации добыть все это представляло много хлопот.

– Так не забудь же, – говорила она, – список вещей, которые необходимо привезти с дачи и из квартиры, в твоём бумажнике, рядом с паспортом.

Прощаясь, она обняла мужа и сказала:

– Не переутомляйся, дай мне слово, что в случае воздушной тревоги обязательно будешь спускаться в подвал.

Виктор Павлович сказал:

– Помню свою первую самостоятельную поездку поездом во время гражданской войны. Мама положила деньги в специальный мешочек и пришила его с внутренней стороны рубахи. Тогда главными опасностями были сыпняк и бандиты...

Но когда автомобиль отъехал от дома, Штрум забыл о волнении, охватившем его при прощании. Утреннее солнце красило городские деревья, поблескивающую, увлажненную росой мостовую, запыленные стекла, лупящуюся штукатурку и кирпич стен.

Постоев, полный, высокий, бородатый, уже ждал у ворот, возвышаясь на голову среди своего семейства: жены, дочери Аллочка и худого, бледнолицего сына-студента.

Сидя в автомобиле, Постоев, привалившись к Виктору Павловичу, сказал, косясь на оттопыренные уши седого шофера:

– Вы говорите, реэвакуироваться... Некоторые осмотрительные люди уже вывезли семьи из Казани в Свердловск либо в Новосибирск.

Шофер повернулся к ним вполоборота и сказал:

– Вчера, говорят, немецкий разведчик летал.

– Ну и что ж, и наши разведчики над Берлином летают, – сказал Постоев.

Даже яркое утреннее солнце было бессильно скрасить суровый вид военного вокзала: дети, спящие на узлах и ящиках, старики, медленно жующие хлеб, женщины, одуревшие от усталости, от детского крика, призывники с большими мешками за плечами, бледнолицые раненные и едущие на переформирование красноармейцы...

В мирные времена среди едущих в поездах не только деловые люди и командированные: едут веселые курортники, студенты-отпускники и практиканты, едут разговорчивые, умные старухи поглядеть вышедших в большие люди сыновей, едут дети оказать почет старикам, а главное, много народу едет домой, на побывку в родные места.

Но в пору войны сурово и печально выглядели люди в поездах и на вокзалах.

Виктор Павлович пробирался следом за носильщиком по станционному залу. Вдруг послышался крик: оказалось, в сутолоке у колхозницы украли документы и деньги. Мальчик в штанишках, сшитых из плащ-палатки, жался к ней, ища защиты и утешения и стараясь утешить, а мать, держа на руках грудного ребенка, кричала отчаянным голосом – что было ей делать без билета, без денег, без справки из колхоза?

Когда Штрум проходил мимо, женщина, взглянув на него, на мгновение замолчала; страдающие, напряженные глаза ее встретились с его глазами, может быть, ей показалось, что этот человек в белом плаще и шляпе хочет помочь ей, выдаст документы, билет.

Тяжело подошел к платформе разгоряченный паровоз, поплыли запыленные вагоны. Проводник, недоверчивый к пассажирам, садящимся на промежуточных станциях, стал разглядывать билеты. «Свои» пассажиры, офицеры, едущие из госпиталей, и командированные в Москву инженеры уральских заводов, высказывали на перрон, спрашивали: «Где базар – далеко?.. Кипятки где?.. Сводку слушали, что в сводке?.. Почему тут яблоки?..» – и бежали к зданию вокзала.

Постоев и Штрум вошли в вагон, и ощущение спокойствия коснулось их, едва они увидели ковровую дорожку, пыльные зеркальные стекла, голубоватые чехлы на диванах. Шум вокзала не был слышен, но чувство покоя и удобства смешалось с тревогой и грустью: все в вагоне напоминало о мирном времени, а все вокруг дышало пронзительной бедой и горем. Поезд стоял недолго, вскоре грохотнуло негромко – подцепили к составу паровоз, к вагонам побежали офицеры и уральские инженеры, одни держа на весу чайники и кружки, другие прижимая к груди помидоры, огурцы, газетины с лепешками и рыбой.

Пришло томительное мгновение, когда все едущие ждут рывка паровоза, и даже те, кто покидает дом и близких, жаждут движения, словно оно приблизит их к дому, а не оторвет от него. В коридоре какая-то женщина, сразу потеряв интерес к Казани, озабоченно сказала:

– Проводники обещают, что в Муроме мы будем днем, там, говорят, лук дешевый!

Мужской голос произнес:

– Сводку читал? Этак немцы и к Волге подойдут, я ведь все те места знаю.

Постоев надел пижаму, прикрыл лысину тюбетейкой, полил одеколону из граненого флакона с никелированной крышечкой на руки, расчесал гребнем седую плотную бороду, помахал клетчатый платок на щеки и, прислонившись к спинке дивана, сказал:

– Ну-с, как будто едем.

Штруму хотелось скорей избавиться от тягостного чувства тревоги, и он, чтобы развлечься, то глядел в окно, то наблюдал за румяным жизнелюбом Постоевым. У Постоева было больше ученых заслуг, чем у его молодого коллеги. Его манеры, раскатистый голос, снисходительные шутки, рассказы о великих ученых, которых он называл по имени и отчеству, всегда импонировали людям. По роду работы ему часто, чаще, чем другим, приходилось встречать крупных деятелей, руководивших хозяйством страны, наркомов, директоров знаменитых заводов. Его имя знали тысячи инженеров, его знаменитый учебник был принят во многих вузах. На конференциях и на широких заседаниях Штруму были приятны дружеские чувства Постоева, и он охотно сидел с ним рядом либо гулял с ним в перерывах. И когда он ловил себя на этом, он сердился за свое мелкое тщеславие, но так как на себя долго сердиться трудно, то он начинал сердиться на Постоева.

– Вы помните ту женщину с детьми на вокзале? – вдруг спросил Штрум.

– Жалко ее, так и стоит перед глазами, – сказал Постоев, снимая с полки чемодан, и тоном серьезности и искренности, которым говорит человек, понявший душевное состояние собеседника, добавил: – Да, тяжело, тяжело, дорогой мой... – Нахмурившись, он проговорил: – Как вы относитесь к тому, чтобы закусить? Вот жареная курица.

– Отношусь вполне одобрительно, – ответил Штрум.

Поезд подошел к мосту через Волгу, загрохотал, как телега, выехавшая с проселка на булыжную мостовую.

Внизу лежала Волга, рябая от ветра, в песчаных отмелях; непонятно было, в какую сторону она течет. Сверху река казалась некрасивой, серой, мутной. На холмиках и в лощинах стояли длинноствольные зенитные пушки, среди окопчиков шли два красноармейца с котелками, не оборачиваясь в сторону поезда.

– По теории вероятности, немецкому летчику угодить бомбой в наш мост с летящего на большой высоте и на большой скорости самолета да еще при порывистом, переменном ветре – безнадежное дело. Поэтому безопасней всего во время бомбежки на стратегических мостах, –

сказал Постоев. – Но вот как бы нам не попасть под бомбежку в Москве; откровенно говоря, не хочется даже думать об этом. – Постоев поглядел на реку, задумался и проговорил: – Немцы приближаются к Дону. Неужели они вот так будут смотреть на Волгу, как мы с вами на нее смотрим? Кровь леденеет...

В купе у соседей баян заиграл «Из-за острова на стрежень...». Видимо, там тоже после переезда через мост говорили о Волге. Потом лады ухнули и послышалось: «Сама садик я садила...» Постоев подмигнул в сторону соседнего купе и сказал:

– Умом Россию не понять!

Поговорив о детях и казанских событиях, Постоев сказал:

– Я обычно наблюдал своих спутников в дороге и заметил: от Казани до Муромы говорят о домашних, казанских делах. В Муроме происходит перелом, и уже разговор идет о том, что будет в Москве, а не о том, что осталось в Казани. Человек в поездке, как тело, движущееся в пространстве, сперва испытывает притяжение одной системы, потом переходит в сферу притяжения другой. Вы сможете это на мне проверить. Похоже, что я сейчас усну, а когда проснусь, буду, наверное, говорить о московских делах.

И он действительно уснул. Штрума удивило, что спал он, как ребенок, совершенно беззвучно, – казалось, что человек такого богатырского телосложения должен мощно храпеть во сне.

Штрум смотрел в окно, и волнение все больше охватывало его. Это была первая поездка Штрума после того, как он в сентябре 1941 года уехал из Москвы. И событие, такое ординарное в мирное время, потрясло: он ехал в Москву!

И оттого, что в поезде как-то поблекли казанские житейские волнения и тревоги, оттого, что вдруг разрядилось постоянное рабочее напряжение мысли, не оставлявшее его ни дома, ни на улице, Штрум не успокоился, как обычно это случалось в долгой и удобной дороге. Другие чувства и другие мысли, те, что вытеснялись в каждодневной работе, в семейных и житейских заботах, поднялись в нем.

И он даже растерялся – такими сильными и властными оказались эти недодуманные мысли и недочувствованные чувства. Каким застала его война, ждал ли он ее? Он думал об академике Чепыжине, вспомнил о профессоре Максимове, о котором вечером рассказывала Надя, с ним были связаны воспоминания последних мирных недель.

Вот прошел год, самый длинный год в его жизни, он снова едет в Москву! Но ведь на сердце по-прежнему тревожно, и по-прежнему мрачные сводки, и война уже подходит к Дону.

Потом Штрум думал о матери. Ведь всегда, когда он говорил себе, что мать погибла, то говорил это так, не из души, а так... Он закрыл глаза и старался представить себе ее лицо. Странно, но лица самых близких людей труднее представить себе, чем лица отдаленных знакомых. Поезд идет в Москву. Он едет в Москву! И с внезапной радостной уверенностью Штрум подумал, что мать жива, что они непременно увидятся.

35

Анна Семеновна жила до войны в зеленом, тихом городке на Украине. Она работала в поликлинике, принимала больных глазными болезнями. В письмах сыну она писала о родственниках, о своих больных, писала о прочитанных книгах... Под окном у нее росла старая груша, и Анна Семеновна сообщала сыну все обстоятельства жизни дерева – о сломанных зимой ветвях, о появившихся почках, листьях. Осенью она писала ему: «Увижу ли снова мою старую подругу в цвету – листья желтеют и опадают».

В марте 1941 года она писала: «Стало не по времени тепло, прилетели аисты, множество их всегда жило в этих краях. В день их прилета резко испортилась погода, и на ночлег они, точно чуя недоброе, сбились все вместе, в парке на окраине города. В ночь началась метель, и аисты десятками гибли, многие, полумертвые, обезумевшие, шатаясь, выходили на шоссе, видимо ища помощи у людей. Молочница рассказывает, что вдоль шоссе лежат окоченевшие птицы».

Письмо матери было странным, полным тревоги. В том же письме мать писала, что хочет летом обязательно приехать, ей все кажется, что война неминуема, каждый раз она со страхом включает радио. «Я лежу ночью в постели, смотрю в темноту и думаю, думаю...»

Вскоре она написала ему, что пришло настоящее тепло. Письмо было спокойное, шутовское.

Штрум ждал мать к себе на дачу в начале июля, но война помешала ее приезду. Последняя открытка, полученная им, была послана Анной Семеновной 30 июня. В этой открытке мать писала лишь несколько строк, видимо, намекала на воздушную бомбардировку: «По несколько раз в день сильно волнуемся. Но что будет со всеми, то будет и со мной». В приписке, сделанной дрожащими буквами, она просила передать привет Людмиле и Толе, спрашивала о Наде, просила поцеловать «ее милые, грустные глаза». И снова мысли Штрума возвращались к тому времени, когда втайне вызревала война, и ему хотелось соединить, связать огромные события мировой истории со своей жизнью, со своими волнениями, привязанностями, болью.

36

Тогда, в предвоенные дни, уже было очевидно, что победа над десятью западноевропейскими государствами далась Гитлеру почти даром, сила его войск не была растрочена. Огромные сухопутные армии концентрировались на востоке Европы. Рождались версии все новых политических и военных комбинаций. В эфире передавались слова Гитлера о том, что судьба Германии и мира ныне решается на тысячу лет.

В семейном кругу, в домах отдыха, в учреждениях люди говорили о политике и войне. Пришла грозная пора, когда мировые события слились с личной судьбой людей, ворвались в жизнь, и даже такие вопросы, как летняя поездка на морское побережье, покупка мебели либо зимнего пальто, решались в зависимости от военных сводок и опубликованных в газетах речей и договоров. Люди часто ссорились, переоценивали сложившиеся отношения. Особенно много споров происходило по поводу силы Германии и отношения к этой силе.

В ту пору вернулся из научной командировки Максимов – профессор-биохимик. Он побывал в Чехословакии, Австрии. Штрум относился к нему без особой симпатии. Румяный и седой Максимов с округлыми движениями, тихой речью казался робким, безвольным, прекрасодушным. «С его улыбкой можно чай пить внакладку, – говорил Штрум, – две улыбки на стакан».

Максимов делал доклад на небольшом собрании профессуры. Он почти ничего не сказал о научной стороне своей поездки, больше говорил о впечатлениях, о беседах с учеными, описывал жизнь в городах, оккупированных немцами.

Когда он заговорил о положении науки в Чехословакии, голос его задрожал, и он вдруг крикнул:

– Это нельзя рассказать, это надо видеть! Люди боятся своей собственной тени, товарищей по работе, профессора боятся студентов. Мысли, душевная жизнь, семейные и дружеские узы – все под контролем фашизма. Мой товарищ, с которым я когда-то учился, – мы вместе за одним столом отработывали восемнадцать синтезов по органической химии, нас связывает тридцать лет дружбы, – умолял меня ни о чем не расспрашивать его. Его охватывал ужас при одном предположении о том, что я буду ссылаться на его рассказы и гестапо разгадает, о ком идет речь, если я даже и не буду называть ни фамилии его, ни города, ни университета. В науке царствует фашизм. Его теории ужасны, а завтра они станут практикой. Да, они уже стали практикой. Ведь там серьезно говорят о селекции, о стерилизации, мне один врач рассказывал об убийстве душевнобольных и туберкулезных. Это полное помрачение душ и умов. Слова «свобода», «совесть», «сострадание» преследуются, их запрещено говорить детям, писать в частных письмах. Таковы фашисты. Будь они прокляты!

Последние слова он прокричал и, взмахнув рукой, ударил с силой кулаком по столу, ударил так, как может ударить взбешенный волжский матрос, а не тихоголосый профессор с седой головой и приятной улыбкой.

Выступление его произвело большое впечатление.

Штрум сказал:

– Вы, Иван Иванович, обязаны, это ваш долг, записать все ваши впечатления и опубликовать их...

Кто-то тихо сказал тоном, каким говорят взрослые с детьми:

– Все это не ново, и такие воспоминания вряд ли сейчас следует печатать, в наших интересах укреплять политику мира, а не расшатывать ее.

В воскресенье 15 июня 1941 года Штрум с семьей поехал на дачу.

После обеда Штрум с Надей и Толей сидели на скамейке в саду.

Надя, прислушавшись к скрипу калитки, радостно крикнула:

– Кто-то пришел! А, Максимов!

Максимов видел, что Штрум рад ему, но с тревогой спросил:

– Не помешал ли я? Может быть, вы собирались отдохнуть?

Затем он пытался выяснить, не нарушил ли его приход прогулки, не собирался ли Штрум в гости. Наконец Максимов сказал:

– Помните ваше пожелание, высказанное после моего сообщения? Мне хочется посоветоваться с вами, почему бы действительно не написать?

Но в это время в сад вошла Людмила Николаевна, и Иван Иванович стал длинно здороваться, снова извинялся за вторжение и отказывался пить чай, боясь утруждать хозяйку.

После чая Людмила Николаевна повела Ивана Ивановича смотреть на яблоньку, приносившую ежегодно до пятисот яблок, она ездила за этим деревцем в Юхнов, к одному старику мичуринцу.

Разговор, видимо, увлек их обоих. Так и не состоялась беседа о фашизме. Иван Иванович обещал прийти в следующее воскресенье.

– Вот, ребята, – сказал Виктор Павлович детям, когда Максимов ушел, – куда этому доброму и деликатному дяде деваться теперь, в «штурм унд дранг периоде»?

Но в следующее воскресенье Виктор Павлович в поднявшемся вихре уже не помнил о Максимове.

Через месяц после начала войны кто-то из знакомых сказал ему, что Иван Иванович в свои пятьдесят четыре года оставил кафедру и записался в дивизию московского ополчения, ушел рядовым на фронт.

Забудутся ли те июньские и июльские дни? Бумажный пепел носился над улицами: то сжигались старые архивы наркоматов и трестов.

По ночам грохотали грузовики, и утром угрюмым шепотом люди говорили: еще один наркомат получил приказ выехать в Омск. Лавина еще была далеко, подкатывала к Киеву, Днепропетровску, Смоленску, Новгороду, а уж в Москве сердца сжимались перед неотвратимостью бедствия. Вечернее небо было загадочно и тихо, томительно шли ночные часы в ожидании утреннего света... И первая шестичасовая, утренняя сводка была полна тяжелых сообщений.

Теперь, спустя год, в вагоне, везущем его в Москву, Штрум вспоминал навсегда вошедшие в память слова первой сводки Главного командования Красной Армии.

«С рассветом 22 июня 1941 года регулярные войска германской армии атаковали наши пограничные части на фронте от Балтийского до Черного моря...»

А 23 июня в сводке сообщалось о боях от Балтийского до Черного моря – на шауляйском, каунасском, гродненско-волковысском, кобринском, владимир-волыньском, бродском направлениях...

А потом каждый день в сводке появлялось новое направление, и дома, и на улице, и в институте люди говорили: «Сегодня опять новое направление». Штрум, сопоставляя, мучительно думал: «Как понять, что бои идут в районе Вильно – восточнее ли, западнее ли Вильно?» Он вглядывался в карту, в газетную страницу...

В сводке сообщалось, что за три дня советская авиация потеряла 374 самолета, а противник потерял 381 самолет... И он снова вчитывался в эти цифры, пытался выжать из них разгадку грядущего хода войны.

В Финском заливе потоплена подводная лодка... ага! Пленный летчик заявил: «Война надоела, за что деремся, не знаем...» Немецкий солдат добровольно сдался в плен и написал листовку с призывом свергнуть режим Гитлера... Пленные немецкие солдаты заявили: «Перед самым боем нам дают водку...»

Лихорадочная радость охватывала его; казалось, еще день, еще два – и движение немцев замедлится, остановится, их отбросят...

Двадцать шестого июня в сводке вдруг появилось новое – минское направление. На этом направлении просочились танки противника. А 28 июня сообщалось, что на луцком направлении развернулись крупные танковые бои, в которых участвуют с обеих сторон до 4000 танков... А 29-го Штрум прочел, что противник пытается прорваться на новоград-волыньском и шепетовском направлениях, прочел о боях на двинском направлении... Прошел слух, что Минск занят и немцы идут по Минской автострате на Смоленск.

Штрум затосковал. Он уже не подсчитывал сбитые за день самолеты и уничтоженные танки, не объяснял своим домашним и сотрудникам, что немцев остановят на старой границе, не подсчитывал количество горючего, потребляемого немецкими танками за день, и не делил на эту цифру предполагаемые запасы бензина и нефти, бывшие у немцев.

Он напряженно ждал: вот-вот появится в сводке смоленское направление, а за ним вяземское. Он смотрел на лица жены, детей, своих товарищей по работе, на лица незнакомых людей на улице и думал: «Что же с нами всеми будет?»

Вечером в среду 2 июля Виктор Павлович с женой поехали на дачу – Людмила Николаевна решила привезти в город нужные вещи.

Они молча сидели в саду, воздух был прохладен, в сумерках светлели цветы. Казалось, не две недели, а вечность лежала между тем мирным воскресеньем и этим вечером.

Штрум сказал жене:

– Странно, но я то и дело думаю о своем масс-спектрометре и об исследованиях позитронов... Почему и для чего это? Ведь дико... Инерция? Или я одержим манией?

Она ничего не ответила, и они снова молча смотрели в темноту.

– Ты о чем думаешь? – спросил Штрум.

– Я думаю все об одном, – сказала она, – о Толе, его скоро призовут.

Он нашел в темноте руку жены и пожал ее.

Ночью ему приснилось, что он вошел в какую-то комнату, заваленную подушками, сброшенными на пол простынями, подошел к креслу, еще, казалось, хранившему тепло сидевшего в нем недавно человека. Комната была пустой, видимо, жильцы внезапно ушли из нее среди ночи. Он долго смотрел на полусвесившийся с кресла платок – и вдруг понял, что в этом кресле спала его мать. Сейчас оно стояло пустым, в пустой комнате...

Рано утром Виктор Павлович спустился на первый этаж, снял маскировку, открыл окно и включил репродуктор.

Штрум услышал медленный голос. Говорил Сталин.

– Войну с фашистской Германией, – сказал он, – нельзя считать войной обычной. Она является не только войной между двумя армиями. Она является вместе с тем великой войной всего советского народа против немецко-фашистских войск...

Он назвал эту войну всенародной Отечественной войной...

В середине сентября 1941 года Виктор Павлович должен был выехать в поезде Академии наук из Москвы в Казань.

В день, назначенный для отъезда, была жестокая бомбежка, и поезд не ушел, пассажиров перевели в метро. Расстелив газеты на рельсы и запачканные маслом камни, они просидели под землей до рассвета.

Утром, в липком поту, сморенные духотой, молча выходили бледные люди из метро. В тот миг, когда они переступили порог подземелья, каждый из них на краткую секунду ощутил взрыв счастья, того счастья, что не ощущается и не ценится живыми существами, привыкшими быть живыми: они увидели свет, дышали воздухом, чувствовали теплое утреннее солнце...

Весь день поезд простоял на запасных путях. К вечеру нервы у всех напряглись.

Уже в воздух поднялись аэростаты воздушного заграждения, голубизна неба поблекла, а облака порозовели – и эти мирные краски заката наполнили сердца томлением и тревогой.

В восемь часов эшелон, скрежеща, медленно, точно вагоны не верили в возможность движения, отошел от раскаленного перрона в прохладу полей.

Виктор Павлович стоял на площадке вагона, смотрел – быстрее и быстрее уплывали нити проводов, розово-дымное небо, московские дома и улицы, последние трамваи пригородных линий. Тоска все сильнее охватывала его. Он расставался с Москвой, может быть, навечно! Немыслимым казалось это расставание.

Через сорок минут в Москве была объявлена воздушная тревога. Эшелон остановился в лесу. Пассажиры вышли из вагонов. Над Москвой вырос голубоватый, тревожно дышащий, колышущийся шатер прожекторов, трассы зенитных снарядов, цветные нити, влекомые невидимой стальной иглой, расшили небо живыми красными и зелеными узорами. Заискрились разрывы зенитных снарядов, загрели залпы мощных зенитных орудий. Время от времени с земли поднимались взмахи желтых, тяжелых крыльев и доносился медленный, угрюмый, глухой гул – то на московских улицах рвались тяжелые фугасные бомбы.

В лесу стало прохладно, скользкая, колючая хвоя пахла осенней грустью, стволы сосен, по-стариковски тихие, добрые, стояли в вечернем безветрии. Душа не вмещала сложного и противоречивого чувства: покой и напряжение, ощущение безопасности, вечерней прохлады, сосуществующих с пламенем и дымом, с бушующей в Москве смертью, ощущение в одном пространстве тишины и грохота, телесное инстинктивное желание движения на восток и томительный, зудящий стыд, вызванный этим телесным ощущением.

Это была тяжелая дорога – медленное движение эшелона, духота, долгие стоянки в Муроме, Канаше...

Сотни людей, московских служащих, ученых, писателей, композиторов, бродящих во время этих долгих стоянок по путям, разговоры о кипятке, картошке... Штрум поражался, наблюдая некоторых людей, которых он встречал на концертах в консерватории, на выставках, во время летнего отдыха в Гаспре и Теберде.

Поклонник Моцарта, ездивший специально в Ленинград, когда там исполнялся «Реквием», оказался сварливым и черствым человеком – он захватил верхнюю полку и отказался уступить ее женщине с ребенком.

Второй, хорошо знакомый Штруму человек, милый и услужливый компаньон во время крымских экскурсий на интуристских «линкольнах» в Бахчисарай и Чуфут-Кале, скрывал сейчас от спутников в дороге свои запасы провизии и ночью, лежа на верхней полке, шуршал бумагой и монотонно жевал; как-то утром Штрум обнаружил в своем ботинке сырную корку, – очевидно, ее уронил во время одинокого ночного пира верхний коллега.

И наряду с мелочностью, черствостью одних другие люди трогали своей добротой, неизменной чистотой и благородством мыслей и поступков.

И над всеми этими переживаниями все растущая тоска, темное и туманное будущее...

Как-то, глядя в окно на медленно проходивший товарный состав, Штрум, указывая Соколову на вагон с надписью: «Моск. Киев. Ворон. ж. д.», сказал: «Perfectum». Соколов кивнул и, показав на проходивший в это время вагон с надписью: «Средне-Азиат. ж. д.», сказал: «Futurum».

Толпы на вокзалах, знакомые, шагающие меж рядов товарных вагонов, среди груд нечистот и необработанного мусора, один с вареной картошкой, другой держащий обеими руками большую обглоданную кость.

И он, вспоминая эти тоскливые дни, понял, что люди, которые ему представлялись той осенью беспомощной, слабой толпой, не были слабы, что он не понимал силы, объединившей миллионы людей, их знания, их трудолюбие, их любовь к свободе... Их трудом, их борьбой горит грозное пламя освободительной войны.

И, вопреки волнению и горечи, искорка счастья мелькнула где-то в глубине его сознания, и он снова подумал: «То прошлогоднее предчувствие неверно, мать жива, я ее увижу».

37

Они приехали в Москву перед вечером. Город в этот час был полон печальной и тревожной прелести. Москва не боролась с приходом тьмы, не зажигала в окнах огней, не освещала фонарями свои площади и улицы. Город плавно переходил от сумерек к тьме, так отходят к ночи долины и горы. Уж никто в пору мира не увидит, если не видел этого в те летние вечера, каким было вечернее небо над затемненной Москвой, как спокойно и уверенно ложился сумрак на стены домов и становились невидимы тротуары и асфальт площадей. Мирно блестела при луне вода у обтесанных камней Кремлевской набережной, совершенно так же, как блестит при луне поросшая камышом робкая сельская речушка. Бульвары, городские сады и скверы казались ночью дремучими, без тропинок и дорог. Ни один даже слабый луч городского света не нарушал неторопливую работу вечера. А в пепельно-синем небе тихо белели аэролаты, и минутами казалось, что это серебристые ночные облака.

– Какое странное небо, – сказал Штрум, шагая по платформе Казанского вокзала.

– Да, небо странное, – сказал Постоев, – но более странно будет, если за нами пришлют, как обещали, машину.

Публика расходилась быстро и молча, это пришел в Москву поезд военной поры – на перрон не вышли встречающие, а среди приехавших не видно было детей и женщин. В большинстве из вагонов выходили военные в плащах и шинелях, с заплечными зелеными мешками. Торопливо и молча шагали они, поглядывая на небо.

В гостинице «Москва» Постоев попросил у дежурной комнату не выше четвертого этажа.

– Теперь все хотят не выше четвертого, – улыбаясь, проговорила дежурная, – все не любят бомбежки.

Постоев шутливо сказал:

– Что вы, я-то как раз очень люблю бомбежки.

В коридоре встретилось им много военных, несколько красивых женщин. Все оглядывали седого богатыря Постоева.

Из полуоткрытых дверей слышались громкие голоса, иногда звуки баяна. Седые официанты носили подносы с незатейливой едой сорок второго года: каша и картофель; скромность еды подчеркивалась блеском массивных никелированных судков.

Войдя в номер, они сняли плащи, и Постоев осмотрел постели, пощупал маскировку на окнах и потянулся к телефону.

– Придется вызвать директора, – сказал он, – и по поводу улучшенных обедов поговорить, и комната мне не нравится.

– Леонид Сергеевич, вряд ли директор придет к нам на восьмой этаж, лучше узнать по телефону, когда он в конторе, и зайти к нему, – сказал Штрум.

Но Постоев только пожал плечами и снял трубку.

И действительно, едва они успели помыться, в дверь постучали и вошел смуглолицый и представительный человек.

– Леонид Сергеевич? – спросил он.

– Да, да, я, – сказал Постоев, идя навстречу вошедшему, – знакомьтесь, Виктор Павлович Штрум, – но директор лишь кивнул, видимо сразу очарованный Постоевым.

Постоев с первых слов договорился об обедах и объяснил директору, что хотелось бы получить двойной номер, не выше третьего этажа.

Директор кивнул головой, сделал пометку в книжечке и сказал:

– Завтра смогу вам предложить то, что вас устроит, я к вам зайду.

Постоевская житейская уверенность была связана с общей уверенностью в важности и нужности его работы, уверенностью в драгоценных и счастливых качествах его образованности, научного и технического опыта.

Он был ментором отечественной промышленности качественных сталей. И ведь, действительно, уверенность его зиждилась на прочном фундаменте.

Директор называл корифеев науки, академиков, останавливавшихся в «Москве»: он с удивительной четкостью помнил номера комнат, в которых останавливались Вавилов, Ферсман, Веденеев, Александров, но, видимо, не совсем ясно представлял себе, кто из них был геолог, кто физик, а кто металлург. Директор привык иметь дело с большими людьми и обладал спокойной, уверенной манерой разговора, позволявшей ему держаться на острие, где сходились приветливая почтительность и утомленная деловитость. Постоева он, по всему судя, зачислил в самый почетный ряд, это ясно чувствовалось – в разговоре его было много приветливой почтительности и почти отсутствовала утомленная деловитость.

Когда он ушел, Штрум, подняв руки к потолку, воскликнул:

– Леонид Сергеевич, мне казалось, еще минута – и директор приведет к нам хор дев в белых хитонах, с гирляндами роз.

Постоев захохотал, его тяжелые плечи, борода заколебались, кресло затряслось, и стакан возле графина с водой зазвенел, подчиняясь могучим колебаниям большого хохочущего тела.

– Ох, – сказал, отдуваясь, Постоев, – а ведь знаете, в воздухе гостиницы всегда содержится какой-то микроб студенческого легкомыслия, черт знает что в голову лезет.

Ночью, несмотря на усталость, они долго не могли уснуть, но разговаривать не хотелось – оба читали. По смешному совпадению оказалось, оба они захватили в дорогу одну и ту же книгу: «Приключения Шерлока Холмса». Постоев вставал, ходил по комнате, принимал лекарства.

– Вы не спите? – спросил он тихо. – Что-то мне на сердце тяжело, ведь я в Москве родился, на Воронцовом поле, в Москве вся моя жизнь, все близкое и дорогое. И отец и мать на Ваганьковском похоронены, и я бы хотел с ними рядом... я ведь старик... а гитлеровцы все прут, проклятые.

Утром Штрум раздумал ехать вместе с Постоевым в комитет, решил пешком пройти к себе домой и оттуда в институт.

– К двум часам я буду в комитете, позвоните мне, а сейчас поеду в наркоматы, – сказал Постоев.

Он был оживлен, с веселыми глазами, радовался предстоящим деловым встречам; казалось, не он ночью говорил о войне и смерти, о старости.

38

Штрум пошел на телеграф – отправить телеграмму Людмиле Николаевне. Он шел по улице Горького, мимо забитых досками и заложенных мешками витрин, по просторному пустынному тротуару.

Отправив телеграмму, он снова спустился к Охотному ряду, решив пешком пройти через Каменный мост, по Якиманке, к Калужской площади.

По Красной площади проходила красноармейская часть. Мгновенное чувство заставило Штрума связать воедино громаду Красной площади, Ленинский мавзолей, стены и башни Кремля, ту прошлогоднюю осень, когда он, казалось, навеки прощался с Москвой, стоя на площадке вагона, и это сегодняшнее небо, и лица солдат, утомленные и строгие.

Часы на башне пробили десять.

Он шел по улицам, и каждая мелочь, каждая новая подробность волновали его. Он смотрел на окна с наклеенными синими бумажными полосами, на разрушенный бомбежкой дом, обнесенный деревянным забором, на баррикады из сосновых бревен и мешков с землей, с щелями для орудий и пулеметов, смотрел на высокие, блестящие стеклами новые дома, на старые дома с облупившейся местами штукатуркой, на надписи, подчеркнутые яркой белой стрелой – «бомбоубежище»...

Он смотрел на поредевшую толпу прифронтовой Москвы – много военных, много женщин в сапогах и гимнастерках, смотрел на полупустые трамвайные вагоны, на быстрые военные грузовики с красноармейцами, на легковые машины в зеленых, черных пятнах и запятых – у некоторых стекла были пробиты пулями.

Он смотрел на молчаливых женщин в очередях, на детей, играющих в сквериках и во дворах, и ему казалось – все знают, что он лишь вчера приехал из Казани и не провел вместе с ними жестокую холодную московскую зиму...

Пока он возился с замком, приоткрылась дверь соседней квартиры, выглянуло оживленное лицо молодой женщины, смеющийся и одновременно строгий голос спросил:

– Вы кто?

– Я? Хозяин, должно быть, – ответил Штрум.

Он вошел в переднюю и вдохнул затхлый, душный воздух. Все в квартире осталось таким, как в день отъезда. Только кусок хлеба, оставленный на обеденном столе, порос пушистой бело-зеленой плесенью, а рояль стал серым, седым от пыли, и книжные полки поседели, запылились. Надины белые летние туфельки выглядывали из-под кровати, в углу лежали Толины гимнастические гири.

Да, все вызывало грусть: и то, что оставалось неизменным, и то, что изменилось.

Штрум открыл буфет и в темном углу нащупал бутылку вина, взял со стола стакан, отыскал пробочник. Он обтер платком пыль с бутылки и стакана, выпил вина, закурил папиросу.

Он редко пил, и вино сильно на него подействовало, комната показалась светлой и нарядной, сразу перестала чувствоваться пыльная духота воздуха.

Он сел за рояль и осторожно, раздумывая, попробовал клавиатуру, прислушался к звуку...

Кружилась голова, и ему было одновременно весело и грустно от возвращения в свой дом – необычайное чувство возвращения и заброшенности, чувство семьи и одиночества, связанности и свободы...

Все было прежним, привычным, знакомым, и все было новым, непривычным, незнакомым. И он себе самому казался другим, не таким, каким он знал и понимал себя.

Штрум подумал: «Слышит ли соседка музыку? Кто она такая, молодая женщина с веселыми глазами, выглянувшая из двери квартиры профессора Меньшова? Ведь Меньшovy эвакуировались еще в июле 1941 года».

Но когда Штрум перестал играть, он почувствовал беспокойство – тишина угнетала его. Он забеспокоился, обошел все комнаты, вышел на кухню, стал собираться.

На улице он встретил управдома, поговорил с ним о прошедшей холодной зиме, о лопнувших трубах отопления, об оплате жировок, о пустующих квартирах и спросил:

– Кстати, кто это у Меньшовых живет? Ведь они все в Омске?

Управдом ответил ему:

– Вы не беспокойтесь, это их знакомая из Омска по делам приехала в Москву, я ее на две недели временно прописал, на днях она уедет. – И внезапно, повернув к Штруму свое морщинистое лицо, плутовски подмигнул и сказал: – А ведь красавица, ей-богу, а, Виктор Павлович? – Потом он рассмеялся: – Жаль, Людмила Николаевна не приехала. Мы тут часто с дворниками вспоминаем, как вместе с ней зажигалки тушили.

Штрум шел в сторону института и вдруг подумал: «Эх, перевезу-ка я чемодан домой, поживу дома».

39

Но едва он подошел к институту, едва увидел знакомый газон, скамейку, тополи и липы во дворе, окна своего кабинета и своей лаборатории, он забыл обо всем. Он знал, что институт не пострадал от бомб.

Все хозяйство «главного» второго этажа, где находилась лаборатория Штрума, оставалось на попечении старшего лаборанта Анны Степановны.

Это была пожилая женщина, единственный старший лаборант, не имевший специального образования. Незадолго до войны, при рассмотрении штатов, встал вопрос о замене ее работником с высшим образованием. Но и Штрум и Соколов возражали против замены – и Анну Степановну оставили.

Сторож сказал Штруму, что Анна Степановна держит ключи от комнат второго этажа при себе, но дверь в лабораторию оказалась незапертой.

Летнее солнце освещало лабораторный зал. Стекла в огромных, широких окнах сверкали, и вся лаборатория сияла никелем, стеклом, медью; не сразу замечалось отсутствие наиболее ценной аппаратуры, вывезенной прошлой осенью в Казань и Свердловск. Штрум стоял у двери, прислонившись к стене, и разглядывал оконные стекла без единой пылинки, начищенный паркет, благородный нежный металл аппаратуры, дышавший здоровьем и опрятностью. Он увидел на стене вычерченную контрольную кривую годовой температуры, ни разу не упавшую в зимние месяцы ниже 10 °С.

Он увидел свой вакуум-насос под колоколом и измерительную аппаратуру, боявшуюся влажности, в стеклянном шкафу, со свеженасыпанным гранулированным хлористым кальцием. Увидел, что электромотор на массивной станине смонтирован именно там, где Штрум собирался его установить перед войной.

Он услышал негромкие, быстрые шаги и оглянулся.

– Виктор Павлович! – крикнула бежавшая к нему женщина.

Штрум посмотрел на Анну Степановну, и его поразило, как изменилась она! И тут же он подумал – как неизменно осталось все то, что доверили ей хранить.

Волнуясь, Штрум зажег спичку, стал раскуривать непотухшую папиросу. Она сильно поседела, ранее полное, розовое лицо ее осунулось, и цвет кожи у нее стал серый, а большой, ясный лоб ее был накрест пересечен двумя морщинами.

Без слов понятно было то, что сделала Анна Степановна в эту зиму, какие же слова мог сказать он ей – поблагодарить от имени института, профессуры или даже от имени президента академии?

Он молча поцеловал ей руку.

Она обняла его и поцеловала в губы.

Потом они об руку ходили по залу, говорили, смеялись, а в дверях стоял старик сторож и, глядя на них, улыбался.

Они прошли в кабинет Штрума.

– Как вам удалось перенести станину с первого этажа, ведь для этого нужно по крайней мере шесть – восемь сильных мужчин? – спросил он.

– Это-то проще всего, – сказала Анна Степановна, – у нас в сквере артиллерийская батарея зимой стояла, зенитчики мне помогли. Вот шесть тонн угля на салазках перевезти через двор – это действительно трудно было.

Потом старик Александр Матвеевич, институтский ночной сторож, принес чайник кипятку, а Анна Степановна вынула из сумки маленький бумажный пакетик со слипшимися в ком красными карамельками, нарезала на газетном листе квадратными тонкими ломтиками хлеб, и они втроем в кабинете Штрума пили чай из мерных химических стаканов и беседовали.

Анна Степановна угощала Штрума и говорила:

– Виктор Павлович, вы не стесняйтесь, кушайте конфеты. Как раз утром по энеровским карточкам отоварили сахарный талон.

А старик Александр Матвеевич, собрав своими прокуренными, темными и в то же время бескровными, бледными пальцами хлебные крошки с газетного листа, медленно, вдумчиво сжевал их и сказал:

– Да-а, знаешь, Виктор Павлович, старому человеку в эту зиму трудно пришлось, хорошо еще – бойцы поддержали. – Потом, спохватившись, что Штрум может принять за намек этот разговор о трудностях и постесняется кушать хлеб и конфеты, он добавил: – Теперь-то ничего, легче, и мне в этом месяце по служащей карточке сахар дадут.

Штрум, наблюдая, как Анна Степановна и Александр Матвеевич бережно брали в руки хлебные квадратики, какие у них при этом были тихие движения и как серьезно и важно жевали они, по одному этому понимал, какую трудную зиму пережили они в Москве.

Попив чаю, Штрум с Анной Степановной вновь обходили лаборатории и кабинеты и разговаривали о работе.

Анна Степановна стала рассуждать о плане работ, с которым она познакомилась зимой, когда директором еще был Сухов.

– О, Сухов, Сухов, мы с Петром Лаврентьевичем перед моим отъездом из Казани вспоминали, как Сухов приезжал беседовать по поводу плана, – сказал Штрум.

Анна Степановна стала рассказывать о зимних встречах с Суховым.

– Зимой я в комитет пришла, просить угля. Как он меня сердечно, мило встретил! Было, конечно, очень приятно, но в нем какое-то чувствовалось административное уныние, я даже подумала – плохо наше дело. А весной я столкнулась с ним у входа в главный корпус, подошла и сразу вижу – уж не тот, зимний, взор скользит, движения плавные, холодок, но, представьте, я обрадовалась, подумала – дела выправляются.

– Нет, у самого Ивана Дмитриевича дела уже не выправятся, – сказал Штрум. – А телефон у нас, кстати, работает?

– Конечно, работает.

– Ну, господи благослови, – и Штрум стал набирать номер телефона. Он все откладывал разговор с вызвавшим его начальством, хотя еще в поезде несколько раз открывал записную книжку и глядел на цифры телефонного номера. И сейчас, когда в трубке загудело, он снова заволновался, и ему захотелось, чтобы трубку сняла секретарша и сказала: «Пименов уехал, вернется через три дня».

Но в эту минуту он услышал голос Пименова.

Анна Степановна сразу поняла это по серьезному и напряженному лицу Штрума.

Пименов обрадовался, стал расспрашивать, как ехал Штрум и удобно ли ему в гостинице, сказал, что сам бы приехал к Штруму, но не хочет нарушить его первое свидание с лабораторией. И, наконец, произнес те слова, которые Штрум с волнением ждал и не надеялся услышать.

– Средства для работы академией отпущены полностью, – сказал Пименов, – это относится ко всем нашим институтам, в частности и к вашей лаборатории, Виктор Павлович... Ваши темы одобрены... Ваш научный план одобрил также академик Чепыжин. Кстати, мы ждем его приезда из Свердловска. Вот только по одному вопросу возникло сомнение – удастся ли добиться нужных вам сортов металла для экспериментальной аппаратуры?

Окончив разговор, Штрум подошел к Анне Степановне и, взяв ее за руки, сказал:

– Москва, великая Москва...

И она, смеясь, сказала ему:

– Вот как мы вас встретили.

40

Летом 1942 года Москва жила особенной жизнью. Только в самые тяжелые времена иноземных нашествий границы государства были так тесны: гонец мог за ночь доскакать от Кремля до края Московского государства, с княжым приказом воеводе, и с пригорка видеть желтолицых татар в пропотевших боевых халатах и рваных меховых шапках, бесечно скачущих по вытоптанному русским полям.

В полные мрачной тревоги августовские дни 1812 года мог за ночь доскакать курьер от московского главнокомандующего Ростопчина за известиями к штабу Кутузова и, передохнув, закусив, поскакать обратно, к вечеру привезти пакет в Москву и, сидя в губернаторском доме на Тверской, рассказывать приятелю, что утром на аванпостах он видел красные французские мундиры: «Вот так же ясно, как тебя сейчас вижу!»

И ныне, в грозные летние дни 1942 года, посыльный утром выезжал на броневике из Генштаба с пакетом командующему Западным фронтом, мог, сдав пакет, добыть у приятеля, армейского делегата связи, талончик во фронтовую столовую военторга, пообедать, а вечером рассказывать в Москве, в автобате связи Генерального штаба, как полтора часа назад слушал грохот немецкой полевой артиллерии.

Летчик-истребитель, поднявшись с Московского центрального аэродрома, мог через двенадцать – четырнадцать минут дойти до линии фронта, дать очередь по серым немецким мундирам, пятнавшим осинового и березового можайские и вяземские перелески, и, круто развернувшись над штабом немецкого полка, через пятнадцать минут вернуться в Москву, на трамвае поехать мимо Белорусского вокзала к памятнику Пушкину, где ждала его назначившая накануне свидание знакомая. Тесны стали московские границы летом 1942 года.

Мценск на юге от Москвы, Вязьма на западе, а Ржев на северо-западе были в руках у немцев. Курская, Орловская, Смоленская области лежали в тылу центральной группы войск генерал-фельдмаршала Клюгге. Четыре пехотные и две танковые немецкие армии со всеми тылами, обозами, службами находились на расстоянии пятидневного пешего марша от Красной площади, Кремля, от Института Ленина, от Большого и Художественного театров, от московских школ, родильных домов, от Разгуляя, Черемушек, Садовников, памятников Пушкину и Тимирязеву.

Но получилось так: чем глубже вклинивались немецкие армии на юго-востоке, тем дальше уходила война от Москвы, тем тише, неподвижней становился фронт под Москвой.

Многие дни и недели над Москвой не появлялись немецкие бомбардировщики, жители перестали обращать внимание на гудящие в небе истребители, привыкли к ним настолько, что при короткой тишине в небесах поглядывали вверх: отчего исчез привычный шум...

В трамваях и метро было свободно. На Театральной площади и у Ильинских ворот люди не толкали друг друга даже в самые горячие часы. Девушки – бойцы ПВО по вечерам деловито и привычно запускали в небо серебристые аэростаты воздушного заграждения на Тверском, Никитском и Гоголевском бульварах и на Чистых прудах.

Но, хотя осенью 1941 года эвакуировались сотни московских учреждений, предприятий, вузов, школ, Москва не опустела.

Жители Москвы постепенно привыкли к близости фронта, занялись своими делами и заботами, запасали на зиму дрова, картофель.

Успокоение сердец и умов произошло по нескольким причинам. Первая причина была ложной: обманчивое физическое ощущение удалившейся опасности от Москвы, ощущение действительно совершенно ложное.

Вторая причина успокоения заключалась в том, что человек не может долгий срок находиться в противоестественном для жизни состоянии чрезвычайного напряжения.

Человек привыкает к такому состоянию и даже успокаивается не оттого, что вовне меняется что-либо к лучшему, а оттого, что внутри самого человека растворяется напряженное ожидание, размытое течением его каждодневных забот и трудов. Так больные успокаиваются не оттого, что выздоравливают, а оттого, что привыкают к болезни.

И, наконец, третья, истинная и действительная причина успокоения происходила оттого, что в людях торжествовала бессознательно и сознательно вера в то, что Москва никогда не будет сдана немцам. Эта вера окрепла в ноябре 1941 года, когда немцев, подошедших к предместьям Москвы, захлестнувших петлю окружения до Рязани, отогнали к Можайску, выгнали из Клина и Калинина, эта вера крепла оттого, что Ленинград, сдавленный голодом, огнем, льдом, в течение трехсот дней не сдавался. Эта вера все ширилась и крепла и сменила то тяжелое чувство, которое жители Москвы испытывали в сентябре и октябре 1941 года.

Летом 1942 года жителям Москвы казалось, что тон газет и сводок излишне суров, излишне встревожен. В мыслях людей под влиянием менявшихся обстоятельств происходили удивительные изменения. Поступки людей получали новое освещение и по-новому объяснялись людьми.

В октябре 1941 года некоторые москвичи, обывательски настроенные, отводили глаза, когда их спрашивали, почему они не садятся в эшелоны и не уезжают на восток.

В ту пору считали, что человек, бросивший на произвол судьбы все свое имущество, оставивший квартиру и уезжавший с заводом или учреждением в Башкирию или на Урал, поступает патриотично. Человек, отказывающийся от эвакуации в связи с тем, что теща его нездорова, или потому, что в эшелон нельзя погрузить пианино и трельяж, считался обывателем, а то и похуже.

Теперь, летом 1942 года, кое-какие люди, забыв о подлинных мелких мотивах своих прошлых решений, объявили уехавших в эвакуацию беглецами. Обыватели забыли, какая пропасть лежала между ними и теми истинными защитниками столицы – дружинниками ПВО, бойцами истребительных отрядов, работниками, красноармейцами, рабочими ополченцами, – что остались кровью своей оборонять Москву.

Обыватели чувствовали себя в Москве просторно и говорили – хорошо бы, правительство запретило обратный въезд в столицу всем эвакуированным в 1941 году.

Изменились обстоятельства, и сами собой изменились взгляды людей на произведенные ими поступки, на мотивы этих поступков. Ведь текучесть взглядов и мнений в зависимости от мелких выгод сегодняшнего и завтрашнего дня и есть духовная основа всякого обывателя.

А те, кто уезжали в октябрьские дни, захватив с собой немного белья, валенки, несколько буханок хлеба, люди, говорившие: «Стоит ли запира́ть квартиры, пусть бойцы, что будут драться за Москву, пользуются всем моим добром, и бельем и вещами», – эти люди сейчас писали соседям, управдомам, дворникам – просили следить за вещами, жаловались прокурорам и начальникам районных отделений милиции. И сложилось так, что обыватели корили уехавших, дивились их мелочности. Но этот любопытный случай – одна из малых частных московской жизни. Главное было в другом.

Сильные, самоотверженные рабочие люди, защитники Москвы, с энергией продолжали работу. Те, кто остались защищать Москву, строить баррикады, рыть окопы, вновь вернулись на фабрики и заводы.

Уехавшим казалось, что они увезли с собой жизнь и тепло Москвы. Они представляли себе засыпанные снегом заводские цехи, холодные котельные, опустошенные, без станков, пролеты, дома, стоящие как мертвые глыбы. Им казалось, что вся энергия жизни ушла с ними из Москвы и ожила в новых военных стройках Урала, Башкирии, Узбекистана, Сибири. Но они не оценили всей жизненной силы великого советского города. Сила Москвы оказалась неисчерпаемой, и вновь задымили заводские трубы, ожили заводские цехи. Рабочая сила москвичей словно удвоилась, ее хватило на то, чтобы пустить новые корни на суровой земле новостроек, и

на то, чтобы из корней, оставшихся на московской земле, поднялась и зашумела вторая заводская жизнь.

И это породило новую любопытную частность.

Уехавшие стали тревожиться. Москва жила без них, и они снова захотели быть в Москве. Они хлопотали о том, чтобы им разрешили вернуться, называли оставшихся в Москве мудрецами, забыв о том, какого труда стоило им в октябре сесть на поезд. И те из них, кто уехали в Саратов, в Астрахань, говорили: «Да ведь в Москве куда спокойней, чем на Волге» – и словно не понимали, что судьба Москвы неотделима от судьбы Волги, от судьбы России.

Москва, дымившая зимой железными трубами, выставленными в отдушины и форточки, Москва баррикад и дневных воздушных налетов, Москва, чье свинцовое небо освещалось пожарами и зарницами бомбовых взрывов, Москва, хоронившая по ночам трупы убитых во время налетов женщин и детей, – эта Москва летом вдруг стала нарядной, красивой, и на Тверском бульваре, под самый комендантский час, на скамейках сидели парочки, и цветущие липы после теплого дождя пахли так славно, так сладко, как никогда, кажется, не пахли в мирное время.

41

На третий день после приезда в Москву Штрум сложил вещи в чемодан и ушел из гостиницы, где имелась в ванной горячая вода и где каждый день желающие могли получить вино и водку.

Дома он раскрыл окна и пошел на кухню, чтобы развести водой высохшие в чернильнице чернила, – из крана лениво потекла рыжая жидкость, и он долго ждал, пока струя очистится.

После этого он сел писать открытку жене, потом принялся за письмо Соколову – подробно описывал свои разговоры с Пименовым. По-видимому, через неделю-полторы все довольно многочисленные формальности, связанные с утверждением плана работ, будут закончены.

Штрум надписал адрес на конверте и задумался. Странное чувство возникло у него. В Москве он собирался горячо спорить, доказывать, как важны работы, задуманные им, а оказалось, что спорить не пришлось, все его предложения были приняты.

Он запечатал конверт и стал ходить по комнате. «Хорошо дома, – подумал он, – правильно, что перебрался сюда». Вскоре он уже сидел за письменным столом и работал.

Время от времени он поднимал голову и прислушивался – какая тишина! И неожиданно Штрум понял – он не тишину слушал, а ждал, не раздастся ли звонок, мало ли что, вдруг соседка, живущая у Меньшова, позвонит, и он скажет: «Посидите со мной, очень уж грустно одному».

А когда работа увлекла его и он, забыв о недавних своих мыслях, быстро писал, склонившись над столом, постучалась соседка и спросила, не сможет ли он одолжить ей две спички, зажечь газ: одну на вечер, вторую на утро.

– Одолжить две спички не могу, но безвозвратно дам вам коробок... Да вы зайдите, зачем стоять в коридоре, – проговорил он.

– Какой вы добрый, – смеясь, сказала соседка, – спички теперь – дефицит, – и вошла в комнату. Она подняла с пола смятый мужской воротничок, положила его на край стола и проговорила: – Сколько пыли, какой беспорядок.

Когда она нагибалась и мельком, снизу вверх, посмотрела на Штрума, лицо ее было особенно милостивым.

– Боже мой, у вас рояль, – сказала она, – вы умеете играть? – Она задавала шуточные вопросы, ей хотелось посмеяться над ним. – Играете, но немного, наверно «Чижика»? – спросила она.

Он развел руками.

Штрум был неловок и робок с женщинами.

И сейчас ему, как многим застенчивым людям, казалось, что он холодный, житейски опытный, а женщине с ясными глазами в голову не приходит, что она нравится соседу, владельцу спичек, что он смотрит на ее тонкие пальцы и на ее загорелые ноги в сандалетах на красных каблуках, на ее плечи, маленькие ноздри, грудь, волосы.

Он все не решался спросить, как ее имя.

Потом она попросила его поиграть на рояле, и он играл сперва вещи, которые ей должны были быть известны: вальс Шопена, мазурку Венявского, затем засопел, затряс головой, заиграл Скрябина, искоса поглядывая на нее. Она слушала внимательно, хмуря брови.

– Где вы учились играть? – спросила она, когда он закрыл крышку рояля, обтер платком виски и ладони.

Он не ответил на вопрос своей новой знакомой и сам спросил ее:

– Как вас зовут?

– Нина, – сказала она, – а вы Виктор, – и указала на лежавшую на столике большую фотографию с надписью: «Виктору Павловичу Штруму – аспиранты Института механики и физики».

– А отчество? – спросил он.

– Просто Нина, без отчества.

Штрум предложил ей выпить чаю и поужинать с ним.

Нина согласилась и посмеивалась, глядя, как неумело хозяйничает Штрум.

– Кто же так хлеб режет? – спрашивала она. – Давайте уж я. Да к чему открывать консервы, и так всего хватает на столе... Пойдите, пойдите, надо стряхнуть пыль со скатерти.

Какая-то особая трогательная прелесть была в милом хозяйничанье этой молодой женщины в большой, пустой квартире.

За ужином Нина рассказала ему, что она живет с мужем в Омске, он работает в Райпотребсоюзе. Она приехала в Москву с партией белья для госпиталей из омского швейкомбината, ее тут задержали с оформлением и сдачей, через несколько дней она поедет в Калинин, – материалы, которые полагались Омску, по ошибке заслали в Калинин.

– А после этого придется домой ехать, – сказала Нина.

– Почему же «придется»? – спросил Штрум.

– Почему? – переспросила она и вздохнула: – Вот потому.

Штрум предложил ей выпить вина.

Нина выпила полстакана мадеры, той, которую Людмила Николаевна велела привезти в Казань, и над верхней губой у нее заблестели капельки пота, она стала обмахивать платочком шею и щеки.

– Вы не боитесь, что окно открыто? – спросил Штрум. – Почему все же вы сказали: «придется ехать домой», ведь обычно говорят: «придется уехать из дому». – Она засмеялась и легонько покачала головой. – Что это за цепочка? – спросил он.

– Это медальон, тут фотография моей покойной мамы. – Она сняла цепочку с шеи, протянула ему. – Хотите посмотреть?

Он посмотрел на маленькую пожелтевшую фотографию пожилой женщины, с головой, по-деревенски повязанной белым платочком, и бережно вернул гостью медальон.

Потом она прошлась по комнате и сказала:

– Боже мой, какая огромная площадь, заблудиться можно.

– Я бы хотел, чтобы вы заблудились здесь, – проговорил он и смутился от своих слишком смело сказанных слов.

Но она, видимо, не поняла его.

– Знаете что, – сказала она, – давайте я вам помогу пыль в комнате вытереть, посуду убрать.

– Что вы, что вы! – испуганно сказал Штрум.

– А что же тут такого? – удивленно спросила она.

Она вытерла клеенку, стала перемывать стаканы и рассказывать.

А Штрум стоял у окна и слушал ее.

Какая странная женщина, как не походила она на всех знакомых ему женщин. И как красива! Как это она, не колеблясь, с поразившей Штрума режущей душу откровенностью, рассказывала о себе, рассказывала о своей покойной матери, о том, какой у нее недобрый муж и как он виноват перед ней.

В ее словах необъяснимо соединялись ребячество и житейская опытность.

Она рассказала ему, что ее любил один «замечательный парень», техник по монтажу, она работала тогда наладчицей в цехе, и теперь сама не понимает, почему не вышла за него замуж, а незадолго до войны пошла за красивого соседа по квартире, уполномоченного Омского райпищепромсоюза, он сейчас на бронепоезде («прижался к броне», – сказала она).

Нина посмотрела на ручные часы:

– Ну, пора. Спасибо за угощение.

– Вам спасибо, я даже не знаю, как благодарить вас.

– Война, все друг другу помогать должны, – сказала она.

– Нет, не только за это спасибо. А за чудесный, замечательный вечер. И за ваше доверие ко мне. Поверьте, я очень взволнован тем, что вы так рассказали о себе, – говорил он, приложив руку к груди.

– Вы – странный, – сказала она и с любопытством посмотрела на него.

– О, я, к сожалению, не странный, – сказал он, – я самый обыкновенный человек. Необыкновенная вы. Разрешите, я провожу вас? – И он почтительно склонился перед ней.

Она несколько мгновений смотрела ему прямо в глаза, и ресницы ее на этот раз не моргали, а глаза стали пристальными, удивленными и широкими...

– Какой вы... – сказала она и вздохнула, словно собираясь плакать.

Да, мог ли он подумать, что эта молодая красивая женщина так много пережила. «Но как доверчива и чиста она», – подумал он.

Утром, проходя мимо старухи лифтерши, сидевшей в дачном плетеном кресле, Штрум спросил:

– Как дела, Александра Петровна?

– Дела у всех одни, – ответила она. – Дочка болеет; хотела детей в деревню к сыну отправить, а в четверг письмо от невестки – забрали его в армию. Куда теперь их отправить, у той в деревне у самой двое, девочка постарше и мальчишка совсем мелкий.

42

В этот день в комитете Штрум узнал о приезде Чепыжина. Секретарша Пименова, шестидесятилетняя, полнотелая старая дева, смотревшая на мужчин, независимо от того, были ли они седыми профессорами или студентами первого курса, осуждающими глазами, сказала Штруму:

– Виктор Павлович, академик Чепыжин просил вас ждать его – он будет здесь к шести часам вечера.

Она посмотрела на Штрума и строго произнесла:

– Ждать вам надо обязательно, так как он завтра уезжает в Свердловск. – После этого она, усмехнувшись, негромко добавила: – И ждать вам придется долго, так как убеждена, что Дмитрий Петрович опоздает.

Этим она хотела сказать, что и знаменитый академик не лишен слабостей, которые присущи ветреному трудновоспитуемому полу.

Но она действительно оказалась права – Чепыжин приехал в начале восьмого, когда кабинеты и комнаты уже опустели и вахтер сурово оглядывал нервно шагавшего по коридору Штрума, а оставшийся на ночное дежурство секретарь пристраивал к письменному столу кресло своего начальника, готовясь без лишней маеты скоротать ночь.

В тот момент, когда Штрум услышал шаги Чепыжина и затем, оглянувшись, увидел в глубине коридора знакомую плотную фигуру, он испытал чувство радости и волнения.

Чепыжин, заметив Штрума, протянул руку и, быстро идя ему навстречу, громко произнес:

– Виктор Павлович, вот мы и встретились... в Москве!

Вопросы его были неожиданные, быстрые...

– Как в эвакуации живете? Трудновато? Обо мне вспоминаете? Как вы тут с Пименовым договорились? Бомбежек боитесь? Людмила Николаевна этим летом в колхозе не работала?

Слушая ответы Штрума, он слегка склонял голову набок, и под его широкими бровями блестели внимательные, одновременно веселые и серьезные глаза.

– План ваш читал, – сказал он, – действуете вы, мне кажется, в правильном направлении. – Задумавшись, он проговорил негромко: – Сыновья мои в армии, Ванюша ранен был. Ваш-то ведь тоже в армии? Бросим-ка мы с вами науки и пойдем на фронт добровольцами? А? – Он вдруг оглядел комнату и сказал: – Душно, пыльно, накурено. Знаете что? Мы до моего дома пешком пройдем. Недалеко. Километра четыре. А там вас автомобиль подвезет домой. Согласны?

– Конечно, согласен, – ответил Штрум.

В тихом вечернем сумраке загорелое, обветренное лицо Чепыжина казалось коричнево-темным, а светлые большие глаза глядели зорко и пристально. Верно, такими были это лицо и глаза, когда Чепыжин по лесной, теряющейся во тьме тропинке спешил во время своих походов к месту ночевки.

Когда они переходили Трубную площадь, он остановился и внимательно, медленно осмотрел пепельно-голубое вечернее небо. Удивительным был этот долгий, внимательный, хмурый взгляд. Вот оно – небо детских мечтаний, располагавшее к грустному созерцанию, к бездумной печали... Но нет! Небо – вселенская лаборатория, где прилагался труд его разума, небо, на которое он смотрел глазами крестьянина, оглядывающего поле, где немало пролито им пота.

Эти первые замерцавшие звезды, быть может, порождали в его мозгу мысли о протоновых взрывах, о фазах и циклах развития, о сверхплотной материи, о космических ливнях и

ураганах варитронов, о различных космогонических теориях, о собственной его теории, о приборах, регистрирующих невидимые потоки звездной энергии...

А быть может, совсем другие мысли возникали в мозгу Чепыжина, когда долгим, хмурым взглядом смотрел он на первые звезды, мерцавшие в небе.

Быть может, вспомнился ему ночной костер, потрескивание сучьев, закоптелый котелок, в котором тихонечко вздыхает распаренное пшено, резная черная листва над головой?

Или вспомнил он, как ребенком сидел в тихий вечерний час на коленях у матери и, чувствуя тепло материнского дыхания, тепло материнских ладоней, гладивших его по голове, смотрел, смотрел на звезды, дивясь и зевая.

А среди редких звезд и хрупких оловянных облачков поднялись аэростаты воздушного заграждения, мелькали широкие лучи прожекторов. Война, война вторглась в города и на поля русских хлебопашцев, война шла в русском небе...

Они медленно шли и молчали. Штруму хотелось спрашивать, но он не задавал вопросов ни о войне, ни о работах Чепыжина, ни об успехах профессора Степанова, который недавно приезжал к Чепыжину советоваться, ни о том, как Чепыжин относится к работе Штрума, ни о том важном разговоре, который имел Чепыжин в Москве и о котором сегодня днем намекнул Штруму Пименов.

Он понимал, что был еще один какой-то вопрос, разговор, касавшийся одновременно и войны, и работы, и тоски, жившей в сердце.

Чепыжин вдруг посмотрел на Штрума и сказал:

– Фашизм! А? Что с немцами стало? Когда узнаешь о средневековом озверении немецких фашистов, оторопь берет, леденеешь. Выжигают деревни, строят лагеря смерти, организуют массовые убийства военнопленных, невиданные с первобытных времен расправы над мирными людьми! Кажется, все хорошее исчезло. Кажется, нет там ни честных, ни благородных, ни добрых. А? Возможно ли это? Ведь мы знаем их. И их удивительную науку, и литературу, и музыку, и философию! А их рабочее движение? Откуда столько набралось злодеев? Вот, говорят, переродились, вернее, выродились. Говорят, Гитлер, гитлеризм сделал их такими.

Штрум сказал:

– Да, приходит такая мысль. И Магомет пошел к горе, и гора пошла к Магомету. Но ведь гитлеризм возник не на пустом месте. «Deutschland, Deutschland über alles!»³ – это не Гитлер первым придумал. Я недавно перечитывал письма Гейне, «Лютеция», – сто лет назад писано об отвратительном, фальшивом немецком национализме, оружии, воюющем, о его идиотской неприязни к соседям и чужеземным народам. А через полстолетия Ницше стал проповедовать сверхчеловека, белокурого зверя, которому все дозволено. А в четырнадцатом году цвет немецкой науки приветствовал кайзера, войну, вторжение в Бельгию; Оствальд, да что там Оствальд, там были люди и побольше. И теперь Гитлер, идя к власти, знал, что предлагает товар, который не залежится: у него родня и среди промышленников, и в прусском дворянстве, и в офицерстве, и в мещанстве. Потребитель нашелся! Кто марширует в полках СС? Кто всю Европу превратил в огромный концлагерь? Кто загнал в душегубки сотни тысяч людей? Фашизм в родстве со всей прошлой германской реакцией, но он особый ее вид, он ужасней всего, что было.

Чепыжин отмахнулся рукой:

– Фашизм силен, но есть предел его власти. Это надо понять. Не беспредельна власть фашизма над людьми! В основном, в общем Гитлер изменил не столько соотношение, сколько положение частей в германской жизненной квашне. Весь осадок в народной жизни, неизбежный при капитализме, мусор, дрянь всякая, все, что таилось и скрывалось, все это фашизм поднял на поверхность, все это полезло вверх, в глаза, а доброе, разумное, народное – хлеб жизни

³ «Германия, Германия превыше всего!» (нем.)

– стало уходить вглубь, сделалось невидимым, но продолжает жить, продолжает существовать. Многих, конечно, фашизм душевно исковеркал, испакостил, но народ остается. Народ остается.

Он оживленно поглядел на Штрума, взял его за руку и продолжал говорить:

– Вот представьте себе, в каком-нибудь городке имеются люди, известные своей честностью, человечностью, любовью к народу, ученостью, добротой. И уж они были известны каждому старику и ребенку. Они окрашивали жизнь города, наполняли ее – они учили в школах, в университетах, они писали книги, писали в рабочих газетах, в научных журналах, они трудились и боролись за свободу труда. Ясно, их видели с утра до позднего вечера. Они появлялись всюду: на заводах, в лекционных залах, их видели на улицах, в школах, на площадях. Но когда приходила ночь, на улицы выходили другие люди, о них мало кто знал в городе, их жизнь и дела были грязны и тайны, они боялись света, ходили крадучись, во тьме, в тени построек. Но пришло время – и грубая, темная сила Гитлера ворвалась в жизнь. Людей, освещавших жизнь, стали бросать в лагеря, в тюрьмы. Иные погибали в борьбе, иные затаились. Их уже не видели днем на улицах, на заводах, в школах, на рабочих митингах. Запылали написанные ими книги. Конечно, были и такие, которые изменили, пошли за Гитлером, перекрасившись в коричневый цвет. А те, что таились ночью, вышли на свет, зашумели, заполнили собой и своими ужасными делами мир. И показалось: разум, наука, человечность, честь умерли, исчезли, уничтожились, показалось – народ переродился, стал народом бесчестия и злодейства. Но это, видите, не так! Понимаете, не так! Сила народного разума, народной морали, народного добра в главном, в основном, в целом будет вечно жить, что бы ни делал фашизм для ее уничтожения.

И, не дожидаясь ответа, он продолжал:

– И так же отдельные люди. Ведь в человеке намешано всякой причины, многое в нем под спудом, скрытое, неверное, примитивное, грубое. Часто человек, живущий в нормальных общественных условиях, сам не знает погребов и подвалов своего духа. Но случилась социальная катастрофа, и полезла из подвала всякая нечисть, зашуршала, забегала по чистым светлым комнатам!

Штрум проговорил:

– Дмитрий Петрович, вы говорите – в человеке намешано всякой всячины. Вы сами, своим существованием на этом свете опровергаете эти самые свои слова, – все в вас чисто, ясно, и нет у вас никаких подвалов и погребов. Да, о присутствующих не говорят, но чтобы с вами поспорить, не нужно тревожить память Джордано Бруно и Чернышевского, достаточно оглядеться вокруг. Нет, таким способом нельзя объяснить того, что произошло в Германии! Вы говорите, кучка злодеев во главе с Гитлером ворвалась в немецкую жизнь. Но ведь в истории Германии в решающий час сколько уже раз правила реакция – то Фридрих, то Вильгельм-Фридрих, то Вильгельм.

Значит, тут дело не только в кучке злодеев с Гитлером во главе, тут дело в особенностях юнкерства, пруссачества, которые выдвигают этих злодеев и обер-злодеев.

Один мой близко знакомый человек, коммунист, он теперь комиссаром на фронте, Крымов, привел мне как-то слова Маркса о роли реакционных сил в германской истории, я их запомнил: «С нашими пастырями во главе мы всегда находились в обществе свободы только в одном случае – в день ее погребения». И вот реакция в эпоху империализма породила сверхчудовище – Гитлера, и вот тринадцать миллионов немцев сказали ему на выборах: «Да!»

– Сегодня это так. Гитлер победил в Германии. Я понимаю вашу мысль! – сказал Чепыжин. – Но бесспорно и то, что народная мораль, народное добро неистребимы, сильнее, чем Гитлер и его топор. Фашизм будет убит, а человек останется человеком. Всюду – и не только в оккупированной фашистами Европе, но и в самой Германии! Народная мораль! Ее мера в свободном, полезном, творческом труде, ее существо в утверждении своего равенства в труде, чести, свободе, основанное на уверенности в праве на свободный труд, на равенство, на сво-

боду всех трудовых людей, живущих на земле. Народная мораль проста: святость моего права – в святости права других трудовых людей, живущих на земле. А фашизм, а Гитлер с особой яростью и грубостью – наоборот: мое право во всеобщем бесправии людей и народов, в бесправии всего мира.

– Дмитрий Петрович, да, да, да, вы правы, человек останется человеком, фашизм будет убит, без понимания этого, без веры в это жить нельзя. Я верю в прекрасную народную силу вместе с вами, вы один из тех, кто научил меня верить в нее. И я так же, как и вы, знаю, что источник этой силы прежде всего в людях труда, в передовых, прогрессивных, гуманных людях, воспитанных на идеях Маркса, Энгельса, Бебеля. Но где же, где она, эта сила, в сегодняшней жизни Германии, в практике жизни? – спросил Штрум. – В практике жизни, когда полчища немцев выжигают нашу страну, деревни, города, поля? Вот о чем душа болит!

– Виктор Павлович, – с укором сказал Чепыжин, – практика жизни и научная теория никогда не должны расходиться и существовать порознь. Вся история нашей физической науки может быть в общем принципе сведена к движению от внешнего кольца электронов до сферы ядерных протонов и нейтронов. За миллион лет от физики камня к химии и снова к физике, но уже не каменной, а ядерной, за миллион лет путь в ничтожную долю миллимикрона. И вот может показаться, что для науки нет мира, полного труда, горя, крови, рабства, насилия, а есть лишь деяния абстрактного разума, проникающего от внешнего кольца электронов к ядру, а весь горький мир бытия, как дым, приходит и уходит, не оставляя по себе ни следа, ни памяти. Вот если ученому так покажется, то грош цена ему, всей его науке, всей его работе. Наука стоит на пороге открытия гигантских источников энергии. Ими должен владеть народ, иначе истребительная сила, созданная современной наукой, попав в руки фашизма, обратит мир в развалины. Как же можно понимать сегодняшнюю действительность, не вглядываясь вперед, не стараясь прочесть завтрашнего дня. Но война есть война! И именно поэтому надо понимать, что неправы люди, видящие во временном торжестве фашистского злодейства приход вечного царства гитлеровской тьмы и, уж конечно, вечную гибель германского народа.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.